

# ГОЛОД

27.11.2025

АЛЕКСЕЙ  
ЕЛИСЕЕВ

АРОН  
РОДОВИЧ

18+

ГОЛОД

Алексей Елисеев

**Голод 2**

«Автор»

«Автор»

2026

## **Елисеев А.**

Голод 2 / А. Елисеев — «Автор», «Автор», 2026 — (голод)

Кто-то ищет склад с провизией, кто-то охотится за слабыми, кто-то строит маленькую власть на страхе. Всё это на фоне пустых кварталов, банд, чужих правил и зомби. В этом новом мире тёплый дом, крепкие стены и не протекающая крыша являются спасением. Сегодня нужен проводник, завтра — врач, послезавтра — патроны. Героям предстоит пройти через обман, предательства и схватки, просто, чтобы удержать своё и остаться целыми. История о том, как быстро человек учится считать дни, патроны и друзей.

© Елисеев А., 2026

© Автор, 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	20
Глава 5	24
Глава 6	29
Глава 7	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Арон Родович, Алексей Елисеев

## Голод 2

### Глава 1

Пустая квартира, в которой давно живёт один человек, ответила мне гробовой тишиной. И самая большая драма, крылась не в самой тишине, а в том, насколько она стала мне привычной.

Я стоял в коридоре босиком, ладонь всё ещё лежала на дверной ручке. Прислушался. Санузел молчал, и в кухне стояла тишина. Да и комната за спиной тоже не демонстрировала признаков жизни. Только гулкий и громкий стук пульса в висках.

Даши здесь не было.

Разжал хватку на ручке, суставы хрустнули тихо и сухо, по-стариковски, хотя мне всего двадцать один. Четыре года за компьютером превращают тело в развалину задолго до срока.

Сделал шаг назад, потом ещё один. Спина упёрлась в холодные обои коридора, и я позволил телу сползти вниз, пока не сел на линолеум. Обхватил колени, прижал к груди.

Вдох через нос — медленно, на четыре счёта. Задержка. Выдох через рот — на шесть. Ещё раз. Техника с тех времён, когда мне было семнадцать и руки ходили ходуном перед первым спаррингом. «Паника — это когда тело забирает управление у головы, — говорил тренер. — Верни управление дыханием, и голова заработает». И я возвращал.

Провёл пальцами по горлу — в третий или четвёртый раз. Кожа целая, гладкая, тёплая. Пульс бился часто и сильно, но ровно. Ни рваных краёв, ни крови, никакого мокрого бульканья при вдохе.

Сжал правую руку в кулак, разжал. Снова сжал, сильнее. Пальцы слушались. Локоть сгибался без хруста, без той белой вспышки, от которой гаснет сознание. Рука работала. Обе руки работали.

Что это значит?

Я зажмурился, пытаюсь выстроить цепочку. Мы с Дашей спустились к дяде Серёже. Я нашёл ключ за почтовым ящиком. Вставил, повернул. Дверь распахнулась рывком изнутри. Дядя Серёжа навалился — здоровенный, в лохмотьях формы, лицо превратилось в кровавое месиво. За ним ещё двое. Я дрался. Ударил монтировкой в висок, череп треснул, из трещины выкатилась светящаяся штука, влетела в рот, я её невзначай проглотил. Потом навалились остальные, мне порвали горло, сломали руку. Я умер. Погиб...

И проснулся здесь. В своей квартире. На своей кровати. С целым горлом и руками. Без Даши, монтировки, даже без мозолей на ладонях, которыми я обзавёлся уже после конца света.

Поднял ладони, разглядывая их в сизом свете из окна. Кожа была гладкой и мягкой — руки человека, который четыре года жал клавиши и держал кружку. Ни мозолей, ни ссадин, даже заусенец на фоне аккуратного маникюра не было. Естественно речь о следах после того как эти руки сутками сжимали стальную трубу, крушили черепа и таскали трупы, даже не шла.

Сон не стирает мозоли. Галлюцинация не разглаживает кожу и не срезает заусенцы.

Я поднялся с пола. Ноги держали, хотя колени мелко дрожали — так бывает, когда адреналин уходит и остаётся пустая, гулкая слабость. Прошёл к ванной, толкнул дверь, нашарил выключатель.

Свет ударил по глазам. Зажмурился рефлекторно, как делал это каждое утро после бессонной ночи за экраном. Только сегодня всё было другим. Каждая мелочь вызывала дежавю такой силы, что подкатывала тошнота.

Открыл кран. Вода пошла сразу — холодная, чистая, с хорошим напором. Сунул руки под струю, обожгло. Набрал в ладони, плеснул в лицо. Ещё раз. Вода стекала по подбородку на футболку, мокрая ткань прилипла к груди.

Закрыл кран. Взял полотенце — чистое, сухое, висело на крючке, как положено в нормальном мире. Вытер лицо, посмотрел в зеркало.

Бледный. Глаза красные, припухшие. Под глазами тёмные круги — наследие четырёх лет депрессии, бессонных ночей и экранного света до пяти утра. Щетина. Волосы торчали. Обычное лицо. Моё лицо.

Провёл рукой по правому предплечью, от запястья к локтю. Кожа была гладкой. Расстегнул ремень часов на левом запястье — старые «Касио» отца. Под ремешком кожа была белее. В той жизни часы давно лежали в ящике — мешали управляться с трубой. Здесь они были на руке.

Мелочи складывались в систему, говорящую, что тело не помнило того, что помнила голова.

Вышел из ванной. Семь шагов по коридору до кухни — привычный маршрут, который я проходил тысячи раз за последние четыре года и который за три недели той жизни превратился в тактический коридор с контролем углов. Сейчас это снова был просто коридор.

Телефон лежал на столе. Чёрный глянцевый кирпич. Взял, нажал кнопку.

Экран вспыхнул: 07:23.

Дата: 06.11.2026.

Шестое ноября.

Первая мысль была тупой и рефлекторной — слишком рано. Мой обычный режим последних лет — это лечь в четыре-пять, встать в час-два дня. Экран, форумы, Лера — всё жило в ночных часах, когда нормальный мир спит.

Лера...

Палец дёрнулся к экрану сам собой, рефлекс, вбитый месяцами. Я открыл мессенджер, проверил, не написала ли она. В той жизни, бывало, набирал я её номер десятки раз, но ответа не было, с того самого её последнего сообщения. Только пустота, безмолвная и холодная, словно зимний вечер за окном.

Сейчас палец замер над экраном. Семь двадцать три утра, шестое ноября. Лера, скорее всего, спит. Если она в общаге — а она, безусловно, в общаге, ведь мы никогда не виделись вживую, — то спит непременно. Вчера переписывались до четырёх, как обычно.

Если сегодня шестое ноября — значит, до часа «Ч» после которого наступил Конец Света и остаётся неделя. Мир ещё жив. Лера ещё жива. Она спит в своей комнате, и на её этаже пока тихо, ещё никого не рвут на части.

Я погасил экран телефона. Звонить в семь утра — значит даже не разбудить, а напугать. А что сказать? «Мне приснилось, что я умер, и я хочу убедиться, что ты жива»? Она подумает, что у меня поехала крыша.

Вечером. Когда она проснётся. Когда наступит наше время — ночное, привычное, в четыре утра, когда весь мир погружается в сон, а мы разворачиваем свои бесконечные разговоры. Тогда. Просто чтобы услышать её голос. Просто чтобы убедиться, что у неё всё в порядке.

Когда я умер?

На этот раз мысль уже была совершенно будничной. Просто ещё одна дата.

Я помнил свою смерть отчётливо. Помнил, потому что в тот день — двадцать седьмого ноября — я звонил Лере. Это был последний звонок перед тем, как мы с Дашей отправились к дяде Серёже. Набрал её номер, и на экране высветилась дата: 27.11.2026. Я задержал взгляд на этих цифрах, и в голове сама собой сложилась мысль, что прошёл целый месяц, а я изменился

так, что от меня прежнего не осталось почти ничего. Гудки тянулись равнодушно, монотонно, а холодная и бесстрастная дата так и стояла рядом с её именем.

Двадцать седьмое минус шестое — двадцать один день. Три недели до моей смерти, если всё повторится в точности. Апокалипсис, впрочем, начался раньше. Я вспомнил первый внезапный крик на улице. Должно быть, это случилось тринадцатого или четырнадцатого ноября.

Сегодня шестое.

Семь дней до начала. Может, восемь. Точно не скажу — тогда дни сливались в серую массу, я не запоминал числа. Но общая картина ясна. У меня есть семь дней на подготовку и двадцать один — до того момента, когда меня загрызут.

Я вернулся в комнату. Медленно отодвинул стул от стола, откатил кресло к стене. Расчистил пространство — два на три метра голого пола между столом и кроватью. Достаточно.

Опустился в упор лёжа. Ладони легли на линолеум, пальцы широко расставлены. Холод сразу пробрался под кожу, до самых костей запястий. Тело вытянулось в одну линию — спина, таз, ноги — и в этой неподвижности я ощутил весь лишний вес, что накопил за четыре года вне зала.

— Раз, — выдохнул я, опуская грудь к полу.

Суставы в локтях скрипнули. Подъём ощущался так, будто я проталкивал себя сквозь толщу бетона. Трицепсы задрожали мелкой, унижительной дрожью, и в груди всколыхнулся короткий, злой стыд — за себя, за четыре года в кресле, за силу, которую променял на мнимый покой.

— Два. Дыши ровнее.

Вниз — вдох. Вверх — выдох. Я следил за положением лопаток, удерживал их на месте. Пресс напряжён, корпус не провисает. На пятом повторении руки стали словно их набили мокрыми опилками. На шестом в голове зазвучал знакомый трусливый голос: «Ложись, объяви зачёт, сохрани лицо».

На седьмом повторении судьба решается на таких мелочах. Тело торгуется с духом, выпрашивает поблажку. Но я удержал верхнюю точку, заставил руки стоять, заставил плечи терпеть. Под кожей в районе трицепсов будто насыпали битого стекла.

Восемь. Замер. Дрожь в предплечьях перешла в тупое жжение. Медленно опустился на колени.

В той жизни — после двух недель на голодном пайке — я делал двадцать повторений. На двадцать первом руки уже тряслись. Значит, тогда я был сильнее, даже голодный и обессиленный. Четыре года назад, в зале, я делал пятьдесят в подходе. Тренер кричал: «Ещё десять!» — и я делал ещё десять, а после шёл на спарринг.

Восемь.

Сел на пол, прислонился спиной к кровати. Вытер пот со лба. Дыхание рвалось из груди, сердце колотилось где-то в горле.

Приседания. Встал, расставил ноги на ширину плеч. Опускался медленно, с академической точностью, следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. Четырёхглавая мышца бедра вспоминала забытую нагрузку неохотно, рывками, словно пробуждаясь от долгой комы. Кровь толчками побежала по венам, разгоняя застой. Тридцать повторений. На двадцать пятом ноги загудели. На тридцатом сжал зубы и довёл до конца.

Планка. Лёг на предплечья, собрал тело в единую жёсткую линию. Статика безжалостно обнажает слабые места. Моё проявилось через двадцать секунд. Пресс мелко задрожал, дрожь расплзлась по всему телу. Тридцать секунд. Остановился за миг до того, как дрожь стала крупной, — контроль важнее выносливости.

Сидел на полу, глядя в пустоту. В голове крутились цифры: 27.11.2026. Восемь повторений. Тридцать приседаний. Тридцать секунд в планке. И двадцать один день до того, как всё закончится.

Я встал в стойку — левая нога вперёд, колено чуть присогнутое, мягкое, готовое к нагрузкам, плечи опустились сами собой, подбородок прижался к груди, скрывая шею для воображаемого удара. Тело вспомнило всё за секунду. И от этого всплеска узнавания внутри разлилась двойственная волна. Горечь — потому что четыре года я упорно прятался от этого ощущения собранности, от этой ясности, от самого себя, превращаясь в бесформенную массу у экрана; и облегчение — потому что оно никуда не делось, не исчезло, а лишь зарылось глубоко под слоями апатии, сидячих дней и ночных бдений, дожидаясь момента, когда я снова встану вот так, лицом к пустоте комнаты.

Джеб. Я вывел левый кулак вперёд медленно, тягуче, давая суставам и связкам прочувствовать забытый вектор движения, ту самую линию, по которой когда-то летел удар. Кулак резал пустоту комнаты беззвучно, и пустота отвечала полным отсутствием сопротивления — ни тела противника, ни даже воздуха, способного свистнуть от скорости, — и от этого мгновенного осознания собственной никчёмности в глазах зацепало, будто от дыма. Кросс. Поворот таза, перенос веса с задней ноги на переднюю, плечо пошло за кулаком, набирая инерцию, и в этот миг я вспомнил запах пота и кожи в зале, запах разогретого линолеума и железа гантелей — запах жизни, которой больше не было. Дыхание вырывалось тонкой, контролируемой струйкой через сжатые зубы, воздух выходил со свистом, коротким и резким, как выдох перед решающим раундом.

Дрожь в предплечьях пришла слишком быстро, уже на четвёртом повторе связки джеб-кросс. Кисти слабели на глазах, пальцы отказывались сжиматься в плотный кулак, разгибались сами собой, будто их наполнила вата, дыхание сбивалось, хотя я работал на месте, не ускоряясь и не усложняя комбинации. Тело изменилось за эти годы. Оно стало дряблым, непослушным, чужеродным инструментом, который забыл, как служить воле. Я опустил руки, чувствуя, как предплечья ноют тупой, непривычной болью, будто их только что вывернули.

— Отлично, чемпион, — сказал я себе тихо, и голос прозвучал хрипло, непривычно грубым в тишине квартиры, отразившись эхом от холодильника. — Четыре года на диете из чипсов, экранного света и жалости к самому себе. Неудивительно, что тебя убили.

Ирония не спасала и не утешала, лишь подчёркивала пропасть между тем, кем я был когда-то, и тем, во что превратился за годы уединения. Я был существом, для которого восемь отжиманий стали подвигом. Но в этой горькой насмешке над собой я уловил один слабый проблеск — я всё ещё умел говорить с собой человеческим голосом, а не тем животным рыком, которым кричал на Дашу. Это значило, что не всё потеряно. Ещё не всё.

Опустив руки окончательно, я вдохнул глубже, широко раскрыв грудную клетку, и лёгкие ответили глущей болью, будто их натёрли наждачной бумагой. Зато голова, затуманенная паникой и липким ужасом лестничной площадки, стала яснее, чище, будто кто-то вымыл окно после долгой зимы. Нагрузка, даже такая мизерная, боль в мышцах, физическое усилие — всё это вытащило меня из вязкой каши страха и заставило мысли выстроиться в жёсткую, простую линию, без завихрений и тумана. Этот эффект я узнавал сразу — ощущение из далёкого зала, из прошлой, настоящей жизни. После хорошей, выматывающей тренировки мозг включался на полную мощность, отбрасывая всё лишнее и второстепенное. Сейчас лишним был весь мир, кроме одной задачи, и одного вопроса, который требовал ответа здесь и сейчас. Проверить.

Я подошёл к столу, ступая осторожно, будто боясь разбудить что-то в этой тишине. Телефон лежал на том же месте, где я его оставил — рядом с опустевшей кружкой, на которой застыли коричневые разводы вчерашнего кофе. Экран высветил 07:41. Восемнадцать минут прошло с тех пор, как я проснулся с криком «НЕТ!», вцепившись обеими руками в собственное целое, невредимое горло, ощущая под пальцами пульс, бьющийся ровно и настойчиво, как будто ничего не произошло.

Восемнадцать минут, а казалось, прошла целая жизнь. Или даже две. Одна там, на лестничной площадке первого этажа, в когтях у того, кто был дядей Серёжей. Вторая — здесь, в

тихой и немой квартире, где всё было на своих местах — книги на полках, носки под кроватью, пыль на мониторе, — как в музее моего собственного падения, где каждый предмет рассказывал историю упущенных шансов и безвозвратно потерянных лет.

Палец снова, уже в который раз за эти восемнадцать минут, потянулся к экрану, завис над контактом Леры. Имя в списке было простым — «Лера», без фамилии, без фотографии профиля. Она никогда не присылала фото, и я никогда не просил — мы договорились однажды, в шутку, что будем существовать друг для друга только голосами и словами, без лиц, без тел, без всего того, что обычно мешает слышать в собеседнике человека. Мы познакомились на книжном форуме, где я яростно защищал Булгакова от её нападков на «излишнюю театральность», а она с такой же яростью отстаивала Пелевина против моих обвинений в «модной пустоте». Мы ругались о книгах так, будто решали судьбу мира, и эта безопасная, виртуальная истерика казалась единственной нормальной вещью в моей жизни, пока нормальным был и сам мир. Пока за окном не начали кричать совсем не по-книжному.

Я открыл ноутбук, и экран озарил комнату холодным синеватым светом, от которого по коже пробежал лёгкий озноб. Передо мной раскинулся привычный рабочий стол с его добровольным хаосом. Папки с книгами, разбросанные без системы, ярлык книжного форума с застывшей иконкой, мессенджер с красной цифрой непрочитанных сообщений от Леры — вчерашних, ночных, тех самых, что я оставил на половине фразы, провалившись в сон без предупреждения. Пальцы сами потянулись к клавиатуре, едва заметно дрожа, и набрал в поисковой строке короткую, но мучительную для меня фразу: «увидел свою смерть во сне подробно реалистично».

Первая ссылка вела на полузаброшенный форум о паранормальном, где люди делились странными историями. Я пролистал несколько записей, вчитываясь в каждую строчку. Один из здешних обитателей рассказывал, как приснилась смерть бабушки в мельчайших деталях, а через неделю та умерла от инсульта. Другой видел во сне аварию на конкретном перекрёстке и инстинктивно изменил маршрут на работу, а вечером в новостях показали ДТП точно на том месте, которое он запомнил во сне. Но всё это было туманно, расплывчато, лишено плоти и веса. У этих людей были сны — пусть и пугающе точные. У меня же за спиной остались три недели непрерывной, логичной, осязаемой реальности. С чёткими сутками, сменами дня и ночи, с конкретными людьми, чьи лица я помнил до морщинки, с весом монтировки в правой руке, которая оставила мозоли и ссадины, если бы это было просто видение, с голодом, который сводил живот судорогой, с усталостью, вьёвшейся в кости, со страхом, который не рассеялся после пробуждения, а осел где-то глубоко внутри, как осадок в стакане.

Я закрыл вкладку с раздражением, будто отмахивался от надоедливой мухи, и набрал новый запрос: «осознанные сновидения боль реалистичность физические ощущения». Сухой псевдонаучный сайт уверял, что мозг якобы не различает сигналы, посылаемые во сне и наяву, и потому человек может ощущать во сне боль, тепло, холод. Но я помнил слишком хорошо запах гнили в подъезде и холодный металл трубы врезался в ладонь сквозь перчатку, помнил вкус крови во рту после того, как дядя Серёжа вцепился мне в горло. Это не был сон. Это было слишком плотным, слишком грязным, слишком настоящим для сна.

Резко захлопнул ноутбук, и глухой щелчок крышки прозвучал в тишине комнаты как приговор. Интернет не даст ответа. Ему доступны только слова, а мне нужна была проверка здесь и сейчас. Конкретный такой тест, осязаемый и неоспоримый, тот, что уже не ускользнёт между пальцами, как дым.

## Глава 2

Поднялся с кресла, чувствуя, как затекли ноги от долгого сидения, и подошёл к окну. Отодвинул штору, и серый рассветный свет проник в комнату, окрашивая предметы в тусклые, но живые тона. За стеклом расстился обычный ноябрьский двор. Машины на парковке стояли мокрыми от недавнего дождя, их кузова отражали тусклый свет утра. Деревья уже сбросили листву, и голые чёрные ветки тянулись к низкому, свинцовому небу, как костлявые пальцы. В окнах домов напротив горел жёлтый свет, и за ним мелькали тени людей, собирающихся на работу. Внизу хлопнула дверь подъезда, и по асфальту застучали торопливые женские каблуки с металлическими набойками — кто-то спешил на автобус или в метро, живя своей обычной жизнью в мире, который ещё не знал, что такое голод и страх.

Я приоткрыл форточку, и в лицо ударил холодный воздух, пахнувший мокрым асфальтом, опавшими листьями и городской пылью — привычными с детства запахами осени, без малейшего оттенка той сладковато-тошнотворной вони разложения, которая уже к концу первой недели в том, другом мире пропитала всё вокруг, въелась в стены, в одежду, даже в плоть. Здесь пахло просто ноябрём. Просто жизнью, городом, который ещё живёт по своим правилам.

И тогда я вспомнил. В том мире, утром шестого ноября, я вышел из дома за чипсами — депрессия, безделье и пустой холодильник подтолкнули к этому жалкому походу. Дошёл до круглосуточного магазина у метро, купил пачку чипсов и бутылку газировки, вернулся домой и сел за компьютер, чувствуя себя ещё более опустошённым. А по дороге, прямо у своего подъезда, встретил дядю Серёжу. Он стоял у скамейки, курил «Приму» и, увидев меня с пакетом из магазина, принялся отчитывать с привычной соседской ворчливостью: «Вы, молодёжь, совсем озверели, травитесь всякой химией». Потом, не дожидаясь моего ответа, перешёл на любимую тему — свой чулан с припасами: крупы, тушёнка, консервы, соль. Вспомнил голодные девяностые и как тогда ценилась каждая банка. А я, пробормотав что-то невнятное вроде «да ладно, дядь Серёж, не гунди», прошёл мимо, торопясь вернуться к экрану, к своему виртуальному убежищу.

Если сейчас я выйду и встречу его у подъезда — того же самого, живого, курящего «Приму», с характерной сутулостью и запахом табака и дешёвого одеколona — если он заговорит теми же словами, с той же интонацией... Значит, это не сон. И точно всё повторяется с мучительной точностью. Означать это будет только то, что я не схожу с ума, и в запасе есть двадцать один день.

Оделся на автомате, почти не замечая своих движений. Натянул старые джинсы, которые уже начали протираться на коленях, зашнуровал поношенные кроссовки с потёртой подошвой, накинул лёгкую куртку, не думая о том, что через три недели в этом мире она станет слишком тонкой для наступающих холодов. Сунул в карман ключи, телефон и кошелёк, в котором лежали три тысячи с мелочью наличными и банковская карта — бумажки и пластик, которые скоро превратятся в бесполезный мусор, годный разве что на растопку костра в пустой квартире.

Вышел на лестничную площадку и закрыл дверь тихо, почти беззвучно, придержав язычок замка ладонью, чтобы избежать характерного щелчка. И только оказавшись в полумраке подъезда, я поймал себя на странной мысли. Если всё сон или бред сумасшедшего, то откуда взялась привычка двигаться бесшумно? Я ведь не спецназовец и не вор. Но рука сама знала, как придержать замок, как поставить ногу на ступеньку мягко, перекатываясь с пятки на носок. Быть может, это уже не привычка, а рефлекс — тот самый, что вбили в меня недели жизни, где каждый лишний звук мог обернуться смертью, а тишина становилась единственным союзником в мире, полном шаркающих шагов и хриплого дыхания.

По лестнице спускался медленно и осторожно, ставя ноги на самый край ступеней, и лишь оказавшись на площадке первого этажа, я поймал себя на этом движении, на этой привычке, которая не имела права существовать в моём теле. Я шёл по лестнице мирного, чистого подъезда в совершенно нормальном мире, где соседи ходят в магазин за хлебом и ругаются на тарифы ЖКХ, а двигался так, будто уже прошёл через ад зачищенного подъезда, пропитанного запахом крови и разложения, где за каждой дверью могла притаиться смерть в обличье бывшего человека.

Мышечная память из жизни, которой по всем законам логики ещё не было. Или которая уже была и теперь отступила, оставив после себя лишь отпечаток в нервных окончаниях и в способе ставить ногу на ступень.

На первом этаже перед дверьми я остановился и оперся ладонью о холодные перила, чувствуя под пальцами шероховатость облупившейся краски. Взгляд упал на пол перед дверью в ту самую квартиру — серый линолеум с едва заметным узором, лишь слегка припорошённый пылью, такой обычный и невинный, что от него защемило в груди. Воздух пах хлоркой и той особенной сыростью, которая всегда живёт в подъездах панельных домов, впитываясь в бетонные стены за десятилетия. А в памяти, навязчивой и чёткой, как фотография, всплыла другая картина этого же места: изуродованное тело, распластанное на полу, тёмная, почти чёрная кровь, растекающаяся по стыкам ламината, запах железа и мочи, смешанный с вонью разложения.

Я моргнул несколько раз подряд, будто пытаюсь стряхнуть наваждение, и провёл ладонью по лицу, чувствуя под пальцами шершавость небритой щеки и холодный пот на висках. Картинка исчезла так же внезапно, как и появилась. Лестница осталась пустой и тихой, на ней пахло только хлоркой и пылью, а не смертью. Я сделал ещё несколько шагов вниз, чувствуя, как сердце колотится в груди тяжёлыми, неровными ударами, будто пытаюсь выбраться наружу.

Вышел из подъезда на улицу, и холодный, влажный ноябрьский воздух ударил в лицо с такой силой, что я невольно вздрогнул и глубоко вдохнул, заполняя лёгкие чистым, резким воздухом без примеси гнили или гари. Шестое ноября — было прохладно, но ещё без настоящего мороза, земля под ногами оставалась сырой, в углублениях асфальта стояли лужи, покрытые тонкой, хрупкой корочкой льда, которая хрустела под подошвой, когда я ступал на край. Небо затянуто низкими серыми тучами, ветер шелестел голыми ветвями деревьев, и всё вокруг выглядело до боли обыденно, до боли нормально.

Я сделал несколько шагов по тротуару, потом свернул за угол дома, чтобы подойти к подъезду с другой стороны, откуда был виден главный вход и часть двора. Двигался медленно, почти неосознанно, будто проверяя реальность каждым шагом, и вдруг остановился как вкопанный.

У подъезда, прислонившись плечом к кирпичной стене, стоял дядя Серёжа.

Высокий, широкоплечий мужчина лет шестидесяти, в знакомой военной куртке от старого НАТО-вского полевого комплекта, висевшая на нём свободно — он был поджарым, жилистым, без грамма лишнего веса, с лицом, изборождённым глубокими морщинами. Короткая седая стрижка ёжиком, привычная для военных, руки в потёртых рабочих перчатках без пальцев. Он курил, держа сигарету двумя пальцами правой руки, и дым поднимался вверх тонкой сизой струйкой, медленно растворяясь в сыром воздухе. Всё в нём говорило о спокойствии, о привычном утре обычного дня.

Дежавю накрыло меня с такой физической силой, что ноги на мгновение стали ватными, колени предательски дрогнули, и я едва удержался на месте, сжав кулаки. Я стоял и смотрел на него, а поверх этой мирной, почти идиллической картинке в голове вспыхивала другая, страшная и отчётливая до мельчайших деталей. Рваная щека с обнажёнными дёснами, отсутствие губ, пустые мутные глаза без единого проблеска разума. Как он навалился в тесном коридоре всем своим немалым весом, как я отчаянно упирался, а потом с трудом занёс монтировку

и ударил — раз, в висок, потом второй раз, с отчаянной силой, и как череп с треском поддался под ударом, а из образовавшейся трещины, словно ядро из спелого плода, выкатилась та самая оранжевая штука, размером с крупную пилюлю, мерцающая тусклым, зловещим светом изнутри.

И сейчас он стоял передо мной. Живой. Целый. Спокойно курил, глядя в сторону, вдыхая утренний воздух и, вероятно, думая о том, как провести этот ноябрьский день.

— О! Артёмка, привет! — с деланной бодростью поприветствовал он, заметив меня, и повернул голову.

Его голос был низким, хрипловатым от утренней сигареты и возраста, но в нём звучала тёплая узнаваемость, голос живого, здравомыслящего человека, а не тот булькающий хрип, что я слышал потом в коридоре его квартиры.

— Привет, дядь Серёж, — выдавил я из себя, заставляя губы сложиться в подобие улыбки, хотя внутри всё сжималось от странного, почти физического напряжения.

Он прищурился, внимательно и оценивающе посмотрел на меня острым, пронизательным взглядом, привыкшим за секунды считать людей и ситуации. Он не упустил детали и мгновенно насторожился.

— Ты чего так на меня смотришь? — спросил он, чуть улыбнувшись уголком рта, и в его голосе прозвучала лёгкая насмешка, смешанная с искренним любопытством. — Как будто призраков увидел. Или я такой страшный стал за ночь? Нормально всё?

У меня похолодело внутри так резко, будто в грудную клетку вставили ледяной клин, и холодная волна прокатилась вниз по позвоночнику, заставив пальцы непроизвольно сжаться. Я сглотнул, но горло оказалось сухим, комок внутри застыл и не двигался.

— Сон дурной приснился, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без дрожи, без того срыва, который выдавал бы мою внутреннюю трясучку. — Никак в себя прийти не могу. Вот и глаза разбегаются.

Он кивнул, не сводя с меня пристального взгляда, потом медленно, будто обдумывая каждое движение, перевёл глаза куда-то мимо меня, в серую глубину ноябрьского двора, где туман стелился над асфальтом, как забытая простыня на больничной койке. Помолчал. Тишину нарушал только далёкий гул утреннего города — гул трамвая на проспекте, шум колёс по мокрому асфальту, голоса прохожих, спешащих на работу, — все эти звуки обычной жизни, которые через три недели замолчат навсегда или превратятся в хриплые вопли.

— Бывает, — сказал он наконец коротко, и в его голосе прозвучала не жалость, а понимание человека, прошедшего через нечто подобное. — У меня тоже иногда такое. Особенно после службы. Духи лезут из всех щелей. Ты отстреливаешься и без промаха их чертей бьёшь, а им хоть бы хны. Поднимаются и снова в атаку. Просыпаешься — и несколько секунд не понимаешь, где ты, и что это сейчас было. А потом выкуришь сигаретку, кофейку горячего глотнешь и отпускает.

Он снова посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде мужского, невысказанного сочувствия — того самого, что не требует слов, а передаётся лишь кивком и паузой.

— Ну ты понимаешь, о чём я...

Кивнул. Да, теперь я понимал. Понимал гораздо лучше, чем мог бы объяснить кому-либо, включая его самого, потому что моё понимание строилось не на воспоминаниях о войне или кошмарах после службы, когда ты приходишь на гражданку и не можешь нати себя в мирной жизни, а на трёх неделях плотной, осязаемой реальности, где он сам, этот самый крепкий мужик с военной выправкой, превратился в нечто, что вцепилось острыми ногтями за мою шею и пыталось разорвать горло.

Он перевёл взгляд на мои пустые руки — никакой сумки, никакого пакета с чипсами и газировкой, которые я обычно тащил из магазина в это время утра. Лицо его слегка изменилось — брови приподнялись на миллиметр, уголки губ опустились.

— За своей гадостью? — спросил он, и в голосе снова зазвучала знакомая, слегка насмешливая нота, та самая, что обычно сопровождала его отповеди о вреде фастфуда. — Чипсы, газировка? Завтрак чемпиона?

В той жизни я ответил «да». Просто кивнул, потупив взгляд, и он начал свою привычную тираду — ту самую, про молодёжь, про химию вместо еды, про здоровье, которое нужно беречь с самой молодости. Рассказал про свой чулан с запасами, про голодные девяностые, про то, как важно держать про запас. А я, торопясь уйти от нравоучений, пробормотал что-то невнятное и прошёл мимо, в подъезд, к своему экрану и чипсам.

Сейчас я ответил иначе. Я вдохнул холодный воздух полной грудью, почувствовал, как лёгкие наполнились резкой влагой, и сказал, глядя ему в глаза:

— В этот раз всё по-другому, дядь Серёж. Нужно купить крупы, консервов. Нормальной еды. Чтобы надолго хватило. Что-то запустил я себя совсем после... Ну, вы понимаете, после того, как родители ушли. Пора взять себя в руки и что-нибудь сделать со своей жизнью.

Его лицо измелилось мгновенно, почти неуловимо для постороннего глаза, но я уловил каждую деталь. Брови чуть приподнялись, в глубине глаз мелькнуло удивление, смешанное с интересом, а затем — одобрение. Лёгкое, но настоящее, одобрение сурового и скупого на внешние проявления эмоций тёртого мужика.

— Вот это правильно, — сказал он, и его голос стал теплее, потерял прежнюю насмешливую окраску, обрёл оттенок уважения. — Молодец, Артём. Осознание и принятие проблемы — это половина её решения. За голову, значит, взялся... Это дело. Если моя помощь нужна, обращайся. Всем чем могу... Номер моей трубы у тебя есть. Но ты лучше сам спускайся на первый. До двадцати трёх ноль ноль я спать не ложусь.

Он снова затянулся сигаретой, выдохнул дым, наблюдая, как тот клубится в холодном воздухе белыми завитками и тут же рассеивается, будто его и не было.

Я слушал, затаив дыхание, и каждое его слово било точно в цель, как пуля в упор. Но больше всего меня заинтересовал полный чулан еды, который через три недели станет либо нашим спасением, либо ловушкой, из которой не выбраться. Первый этаж с его решётками на окнах, которые не спасли его самого от превращения, и бронированная дверь, которую я открою ключом из почтового ящика, когда он уже не будет хозяином квартиры. Но главным суперпризом в этой лотерее — сейф с охотничьими стволами — оружием, про которое я так и не вспомнил вовремя в той жизни.

— ... я ещё голодные девяностые помню, — продолжил друг отца, глядя куда-то вдаль, будто видя перед собой не серый двор, а прилавки пустых магазинов тридцатилетней давности. — Когда в магазинах жрать было нечего, полки пустые, как души после похорон, а те, кто запасался вовремя и с умом, жили припеваючи, пока другие стояли в очередях за килограммом сахара. Так что хоть сейчас всё доступно, я держу большой запас. Мало ли что. Мир, он, Артёмчик, штука непредсказуемая — сегодня ты герой, завтра неопознанный труп бомжа под забором, а послезавтра про тебя уже и не вспомнит никто.

Я кивал, не в силах вымолвить ни слова, потому что каждая его фраза звучала как пророчество.

Он внезапно хлопнул меня по плечу. Рука была тяжёлой, сильной, с грубоватыми мозолями на ладони — той рукой, которая через двадцать один день будет ломать мне кости, рвать плоть, цепляться за горло с животной яростью.

— Ты иди, Артём — сказал он, одобрительно качнув головой. — Разболтался я что-то, но моё дело стариковское. Не мёрзни тут со мной. Высмолю ещё сигаретку и сам поеду на подработку. А то, что запасаясь... Правильно делаешь. Мысль дельная. Не все в твоём возрасте

соображают, что жизнь завтра может как угодно обернуться, тем более сейчас... Новости-то какие, глядишь вместе под ружьё встанем.

Он бросил окурок на асфальт, придавил его каблуком с привычным, чётким движением, развернулся и пошёл к своей машине. Дверь открылась с лёгким скрипом петель и захлопнулась за ним с глухим, окончательным стуком, будто захлопнулась крышка гроба. Мотор его форда-пикапа уверенно рыкнул.

А я стоял на том же месте, не в силах сдвинуться с места, и смотрел как уезжает человек, который через три недели станет моим палачом, а я буду вынужден разбить ему череп монтировкой, чтобы выжить. Ветер шевелил мои волосы, холод проникал сквозь куртку, но я не чувствовал ни холода, ни ветра — только тяжесть в груди и странное, горькое спокойствие. Впервые за долгие годы я знал, что мне делать дальше.

## Глава 3

Весь разговор повторился не слово в слово, но интонация в интонацию, с той же паузой перед последней фразой и тем же поворотом головы, будто дядя Серёжа читал по невидимому сценарию, написанному кем-то свыше для моих ушей. Те же фразы про запасы и голодные девяностые, тот же чулан с тушёнкой, та же оценка моего прежнего поведения — мелкого, беззаботного, погружённого в экранную реальность. Единственная разница заключалась лишь в моём ответе. В прошлый раз я пробормотал что-то про чипсы и газировку, а сейчас сказал, что иду за нормальной едой, за крупой и консервами, за тем, что кормит, а не убивает изнутри. И его реакция изменилась ровно настолько, насколько изменился мой ответ — с лёгкой насмешки перешла в одобрение, с сарказма в тёплую заинтересованность. Всё остальное — как по старой, давно проигранной записи, которую кто-то вставил в плеер и нажал «старт» ещё раз, не спросив моего разрешения.

Значит, это не сон. Это не галлюцинация уставшего мозга. Это реально, плотно, осязаемо — холодный воздух на щеках, запах мокрого асфальта под ногами, тяжесть ключей в кармане. Это повторяется с мучительной точностью, как будто время решило отмотать кассету и дать мне второй шанс, который я не просил и не заслужил. И у меня есть двадцать один день. Двадцать один день до того момента, когда я открою дверь квартиры дяди Серёжи и встречу за ней не живого соседа с военной выправкой, а нечто, что уже перестало быть человеком, с рваной щекой и пустыми глазами, жаждущее моей плоти. Двадцать один день, чтобы подготовиться этой схватке.

Я развернулся и пошёл прочь от подъезда, не оглядываясь, потому что оглядываться значило бы увидеть его спину, его сигарету, его обычную жизнь, которая через три недели превратится в кошмар. Ноги сами понесли меня в сторону ближайшего банкомата — серой, обшарпанной коробки, вмонтированной в стену жилого дома, с потрескавшимся пластиком и экраном, мигающим зелёным светом, как больной глаз. Дошёл за пять минут быстрым, но не бегущим шагом, перекатываясь с пятки на носок, чтобы не привлекать внимания прохожих, которые ещё не знали, что скоро станут добычей. Вставил карту в щель, набрал пин-код дрожащими, но твёрдыми пальцами — четыре цифры, которые ещё что-то значили в этом мире. Экран показал баланс: тридцать две тысячи четыреста рублей. Цифры горели ровным светом, будто издеваясь над моим знанием будущего.

Снял всё, до последней тысячи. Банкомат фыркнул, как раздражённый кот, и выдал пачку мятых купюр разного достоинства — пятисотки, тысячи, пара двухтысячных. Они пахли типографской краской и той обыденностью, которой этим бумажкам оставалось жить меньше месяца. Я засунул деньги в глубокий внутренний карман куртки, застегнул молнию. Через три недели, когда банки умолкнут, а электричество начнёт отключаться кварталами, эти бумажки станут ничем, хуже чем ничем — приманкой для тех, кто ещё верит в старый порядок. Через неделю, когда начнётся паника, банкоматы опустеют одними из первых, и люди будут бить кулаками по их корпусам, требуя того, чего уже нет.

Тридцать две тысячи. На эти деньги я должен был купить максимум того, что можно унести в одиночку и спрятать в четырёх стенах квартиры. Крупа — гречка в мешках, рис в пачках, овсянка в коробках. Консервы — мясные, рыбные, тушёнка в жестяных банках, которые не разобьются при падении. Вода в больших пятилитровых бутылках, сахар в килограммовых пакетах, соль в каменных упаковках, спички в коробках, завёрнутых в плёнку. Настоящая еда, которая будет кормить меня, вероятно, и Дашу тоже, когда она спустится с пятого этажа, когда магазины захлопнутся навсегда, а по улицам начнут бродить не покупатели с корзинками, а те, кто этих покупателей станет есть, рвать зубами и глотать кусками.

Магазин был в двух шагах — круглосуточная «Пятёрочка» с яркой вывеской и стеклянной дверью, за которой кипела обычная, привычная жизнь. Я шёл к нему, но думал уже о другом, о том, что важнее еды и воды.

Об оружии.

Труба и монтировка в той жизни спасали много раз, когда я отбивался от журуна в подъезде, когда крушил череп дяде Серёже, когда отталкивал тела от двери, пока не перестала спасать в последний, решающий момент, когда сил уже не осталось, а врагов стало слишком много. Мне нужно было что-то дальнобойное, тихое, надёжное, что не привлекает внимание всей округи одним выстрелом. Лук? Для того чтобы им прилично владеть, нужны месяцы тренировок, которых у меня нет. Арбалет? Где его взять в обычном московском районе, не заказывая из интернета за неделю? Самодельное копье из водопроводной трубы и напильника? Возможно. Огнестрел — времени на легальное оформление уже нет, да и выстрел привлечёт внимание всей округи, как гонг на обед в монастыре. Шум — это смерть в новом мире, а тишина — единственное, что стоит между мной и смертью.

Мне нужно было подумать о дяде Серёже. О его квартире-крепости на первом этаже с решётками на окнах и бронированной дверью. О его сейфе, который, возможно, не пуст, а хранит ружьё и патроны. О ключах, которые он по старой привычке оставляет за почтовым ящиком для уборщицы, которая уже две недели не появлялась в доме. Ключи эти станут моим пропуском в его квартиру, когда он уже не будет хозяином, а станет угрозой за дверью.

Мне нужно было подумать о Лере. О том, как объяснить человеку, которого я знаю только по переписке на книжном форуме, тому, с кем спорил о Булгакове, то, что невозможно объяснить вообще никому — ни полиции, ни врачу, ни родственнику. Как спасти того, кого никогда не видел, чьего голоса не слышал, не зная, в каком конце страны искать, в какой квартире стучать в дверь, чтобы предупредить о грядущем апокалипсисе.

Мне нужно было подумать о Даше, которая будет стоять за дверью квартиры, дрожа от страха, и шептать в щель: «Артём, ты живой?». Даша, которую я ещё не знаю, но которая уже зависит от моих решений, от моей храбрости или трусости, от того, куплю ли я сегодня лишнюю пачку гречки или решу, что хватит и того, что есть.

Двадцать один день. Три недели. Весь мир ещё жив, дышит, суетится, строит планы на выходные, обсуждает сериалы и цены на бензин. И в этом живом, наивном, слепом мире я, Артём, сидящий четыре года в четырёх стенах, питаюсь чипсами и депрессией, — единственный, кто знает, что будет через неделю. Через две. Через три. Единственный носитель проклятия знания, которое нельзя передать, нельзя доказать, нельзя использовать без риска сойти за сумасшедшего. И мне, этому единственному пророку апокалипсиса, пока что хватает сил только на восемь отжиманий. На восемь жалких отжиманий, после которых трясутся руки.

Я толкнул дверь магазина. Навстречу ударил тёплый, сухой воздух, пахнувший свежим хлебом из пекарского отдела и бытовой химией с прилавков. На кассе сонно зевнула девушка в красной футболке, почёсывая затылок и глядя в телефон. Полки ломились от товаров — конфеты в ярких обёртках, чипсы горой, напитки в пластике и стекле, хлеб в пакетах, овощи в ящиках. Всё это ещё принадлежало миру, который не знал, что через три недели эти полки будут пусты, а девушка на кассе — мёртва или хуже того.

Я взял последнюю облезлую тележку. Одно колесо жалобно подвывало, когда я её взял, и каждый раз принималось скулить при каждом обороте, точно побитая собака. Не обращая на эти житейские мелочи, двинулся между рядами, чувствуя себя единственным зрячим в зале среди слепых. Первый ряд отдавали крупам. Гречка в полуторакилограммовых пачках стояла ровными кирпичными штабелями, ещё дешёвая, ещё никому толком не нужная, потому что мир, уверенный в своём бесконечном благополучном завтра, предпочитал готовую еду из пластиковых контейнеров и доставку за тридцать минут. Я сгрёб с полки двенадцать пачек, укладывая их в тележку методично, без спешки, прикидывая в уме, что полтора килограмма

на пачку, по триста граммов сухого зерна в день, если варить на воде без масла, — это пять дней на пачку. Двенадцать пачек — шестьдесят дней. Шестьдесят дней — это срок, за который можно либо найти способ жить дальше, либо превратиться в то, что будет шаркать по лестничным клеткам в поисках живого мяса. Рис я взял ещё восемь пачек — длиннозёрный, дешевле гречки на двадцать рублей, он разваривается сильнее и даёт больше объёма, а значит, и иллюзии сытости. Овсянку — шесть коробок по килограмму, самую простую, без добавок и ароматизаторов, ту, что на вкус напоминает размоченный картон и именно поэтому годится для выживания, потому что приедается медленнее, чем что-либо съедобное.

Я перешёл к тушёнке. Тяжёлые и приземистые жестянки расположились на нижней полке. На этикетках — бык, нарисованный грубыми мазками, походил скорее на карикатуру, чем на источник белка, и в этом было что-то символичное. Мир, где настоящая еда прячется под личиной дурной пародии. Я загрузил в тележку пятнадцать банок по триста граммов, прикидывая вес — четыре с половиной килограмма только мясных консервов, и от этого веса вдруг стало спокойнее, будто я держал в руках не железо с мясом, а выкованный запас времени. Следом отправились десять рыбных — сайра и скумбрия в собственном соку, маслянистые, калорийные, способные кормить тело жиром, когда от одних углеводов начинает тошнить и сводить желудок. Я помнил вкус пресной гречки, разваренной в кашу, и кусочек рыбы, распадающийся на волокна. Почти счастье в той, другой жизни, и от воспоминания зацепало в носу, хотя я не мог понять, отчего именно. То ли от голода, то ли от стыда.

Дальше — вода, и здесь я загрузил четыре пятилитровые бутылки, каждая весом чуть больше пяти килограмм с учётом пластика. Двадцать литров воды — это десять дней, если пить по два литра в сутки и готовить на абсолютном минимуме, экономя каждую каплю, как скупой рыцарь. Через неделю, когда давление в трубах ещё будет держаться — а может, и не будет, — можно набрать ванну и все кастрюли, но вода из-под крана протухнет без обработки за пять дней, обретёт затхлый, болотный привкус, от которого хочется пить ещё больше, и это я знал по опыту, который ещё формально со мной не случался, но стоял в памяти с тактильной, неопровержимой ясностью. Я добавил в тележку две упаковки хлоргексидина — он пригодится и для ран, и для дезинфекции воды, и просто чтобы перебить запах, который через три недели заполонит подъезд, вьётся в стены, в одежду, в волосы, и от него нельзя будет избавиться, только привыкнуть.

Соль — три килограммовых пачки. Сахар — два килограмма. Спички — четыре коробка, завернутых в целлофан, и я долго смотрел на них, соображая, не забыл ли чего. Огонь — это жизнь, это тепло, это возможность вскипятить воду и не умереть от заражённой раны. Сухари — длинные, ржаные, с тмином — две пачки. Батарейки для фонаря — все, что были на полке, семь штук, формата АА. Рулон скотча, моток бельевой верёвки, пять свечей в упаковке.

Тележка отяжелела так, что подвывающее колесо начало тонко и жалобно скулить с той надсадной нотой. По магазину катил её уже с заметным усилием, упираясь обеими руками в ручку и чувствуя, как протестующе скрипят несмазанные шарниры. На кассе девушка в красной форменной футболке, с тусклым взглядом человека, прошедшего восемь часов перед монитором, подняла глаза от экрана и посмотрела на гору продуктов с тем выражением лица, какое бывает у людей при виде чужого безумия, — смесь вежливого удивления и плохо скрытого желания спросить «вы в порядке?» и, не дождавшись ответа, набрать номер ближайшей психиатрической клиники.

— Оптом берёте? — спросила она, пробивая очередную пачку гречки с монотонным пиканьем сканера, и голос у неё звучал вяло, с тем оттенком безразличия, когда вопрос задаётся из вежливости, а ответ ожидается короткий и не требующий продолжения.

— Родственники приезжают, — соврал я, глядя, как сумма на электронном табло ползёт вверх, переваливая за десять тысяч, и чувствуя, как ложь вязнет на языке, точно переваренная каша. — Большая семья. Издалека.

Она кивнула, утратив ко мне всякий интерес ещё до того, как я закончил фразу, и продолжила сканировать банки с тушёной, которые проезжали по чёрной ленте конвейера с тяжёлым, полновесным постукиванием металла о пластик. Глухой и уверенный звук, обещавший сытость, был сейчас единственным, что имело для меня значение.

Итоговая сумма — четырнадцать тысяч шестьсот двадцать рублей. Почти половина всей наличности, которую я предусмотрительно снял с карты, доверяя скорее интуиции, нежели здравому смыслу. Я расплатился тысячными купюрами, они пахли краской и чужими карманами, и этот запах казался мне запахом уходящей эпохи, сгрёб сдачу в карман и начал укладывать продукты в пакеты. Четыре больших, плотных, с двойными ручками, каждый из которых весил на ощупь килограммов по восемь, превращая мои руки в натянутые канаты уже на стадии подъёма.

Вышел из магазина, загруженный так, что шёл, чуть наклонившись вперёд, компенсируя вес, распределённый по четырём пакетам — два в каждой руке, с полиэтиленовыми ручками, врезавшимися в пальцы тонкими белыми полосами, перекрывая кровоток и вызывая ту тупую, ноющую боль, которая через пять минут превращается в онемение, а ещё через пять — в равнодушие к собственным конечностям. Шёл быстро, перекачиваясь с пятки на носок, старательно обходя лужи, потому что поскользнуться с таким грузом означало не только разбить колени о мокрый асфальт, но и рассыпать половину запасов по ноябрьской грязи, и мысль об этом почему-то была страшнее боли.

Завернул за угол дома, уже видя свой подъезд в ста метрах впереди, — серая панельная коробка с облупившейся краской на козырьке, такая родная и одновременно чужая, будто я смотрю на неё из другого времени, — и в этот момент у бордюра остановилась машина.

Тёмно-синий BMW X5, лоснящийся от капель недавнего дождя, с тонированными задними стёклами и тем характерным, бархатистым рокотом двигателя, который стоит дороже моей квартиры со всей её скромной обстановкой. Передняя пассажирская дверь открылась, и из салона, точно бабочка из кокона, выбралась девушка — невысокая, стройная, в лёгком бежевом пальто, распахнутом на груди так широко, что под ним угадывалось короткое обтягивающее платье, явно рассчитанное на тёплый клуб и совершенно бесполезное против ноябрьского утра. Платье заканчивалось высоко, сантиметров на двадцать выше колен, и мой взгляд, неподвластный контролю, проехался по её голым ногам прежде, чем я успел себя остановить, — длинные, стройные, загорелые, с той особенной гладкостью кожи, которая бывает только у молодых женщин, не знающих недостатка в уходе и времени на себя. Ноги стягивали высокие сапоги на тонких каблуках — бесполезные на мокром асфальте, опасные в гололёд, убийственные на лестничных пролётах, и я подумал, что через десять дней эта обувь станет бесполезной. Крашенные яркие тёмно-фиолетовые волосы, заметные за квартал, как сигнальный огонь, были собраны в небрежный хвост, из которого выбились тонкие пряди, придававшие ей вид женщины, проведшей ночь где угодно, кроме собственной кровати. Вчерашний размазанный под левым глазом макияж, который наносят для вечера, для вспышек фотокамер, для чужих восхищённых взглядов, и забывают смыть к утру, завершал картину. Она наклонилась к открытому окну водительской двери, и пальто, скользя по плечу, обнажило острую ключицу и тонкую ляжку платья, и я почувствовал, как внизу живота шевельнулось что-то тёплое, тупое, и сейчас дико неуместное. Четыре года затворничества, четыре года без женского тела рядом, без запаха женской кожи, без прикосновений, и вот уже мой организм, решил напомнить о себе именно сейчас, когда обе руки режут полиэтиленовые ручки, а голова должна думать о консервах, арбалетах и времени, которого осталось катастрофически мало.

— Масик, я тебе позвоню... — бросила она водителю тем ленивым, слегка капризным голосом, каким говорят после долгой ночи, когда сил хватает только на обещания.

Затем девушка выпрямилась, поправив сумку на плече, и в этом движении была такая беззаботность, такая уверенность в завтрашнем дне, что у меня на мгновение перехватило дыхание.

## Глава 4

Я узнал её мгновенно. Захлестнувшее чувство ударило под рёбра и заставило сердце пропустить удар, — Даша с пятого этажа. Я видел её впервые — здесь, сейчас, на мокром асфальте, живую и целую, в этом дурацком пальто и с этими дурацкими фиолетовыми волосами, хотя помнил её дрожащий голос через щель приоткрытой двери. Помнил её ладонь, прижатую ко рту, чтобы заглушить рыдания, которые она глотала, точно горькие пилюли, чтобы твари не услышали и не пришли на звук. Помнил, как она стояла на пороге моей квартиры, и пальцы её дрожали так сильно, что она не могла закрыть дверь. Сейчас передо мной стоял совершенно другой человек — девушка, про которую мне было известно только то, что она молодая, живёт одна или с кем-то, что у неё есть ключи от квартиры, где через полторы недели она запрется в четырёх стенах, затаится и будет ждать, когда кто-нибудь постучит в дверь.

Масик. Слово застряло в голове, как острый осколок стекла под кожей, который не видно, но чувствуешь при каждом движении. Даша трахнулась со мной в первую же ночь, когда мы оказались вдвоём в тёмной квартире, пропахшей страхом и разогретой тушёнкой, её руки дрожали, и мои дрожали, и это было похоже на отчаяние гораздо больше, чем на близость. Я помнил её горячую кожу под моими ладонями и, как она прижалась ко мне всем телом, будто пыталась влезть внутрь, спрятаться от мира за моими рёбрами, и как потом лежала, уткнувшись лицом мне в шею, и молчала двадцать минут, и я молчал, и тишина между нами была плотной и горячей, как свежий хлеб. Кто этот масик? Парень? Спонсор? Просто приятель с дорогой машиной, подвозящий после клуба? Если парень — тогда какого дьявола она кинулась ко мне, едва мы остались одни, будто до меня никого рядом и не стояло? Впрочем, через три недели от всех этих масиков останутся только шаркающие ноги и хриплое дыхание за закрытыми дверями, а их дорогие машины будут стоять во дворах с открытыми дверцами, и никто не позарится на кожаные сиденья и тонированные стёкла.

Она прошла мимо меня, едва скользнув взглядом по моему лицу, по дурацким пакетам с крупой, по моим красным, исполосованным полиэтиленом пальцам, и не узнала. Конечно, не узнала, потому что мы никогда не встречались в этой жизни. Я смотрел ей вслед, на её узкую спину под бежевым пальто, на фиолетовые волосы, рассыпавшиеся по воротнику, на каблуки, цокающие самоуверенной дробью, которая бывает только у женщин, уверенных, что мир создан для их удобства. В голове почему-то угнездилась уверенность, что через десять дней она будет стоять под моей дверью, а от фиолетового цвета останутся только отросшие тёмные корни. Через десять дней она забудет, как звали масика, и будет вздрагивать от каждого шороха за дверью, и я впущу, потому что у меня не будет выбора, потому что одиночество в этом новом мире страшнее, чем любой, даже самый неподходящий случайный спутник.

Я перехватил пакеты поудобнее, чувствуя, как онемевшие пальцы начали понемногу отходить, наполняясь горячей, колющей болью, и двинулся к подъезду. Восемнадцать шагов до двери, три лестничных пролёта, ещё двадцать одна ступенька — и я окажусь в своей квартире, среди четырёх стен, которые через три недели станут либо моей крепостью, либо моей могилой. Я нёс этот груз, и мне казалось, что я нёс не крупу и консервы, а само время, отмеренное и взвешенное, как на аптекарских весах, — каждую пачку гречки, каждую банку тушёнки, каждый литр воды. И думал о том, что самое страшное в этом мире — не голод, заражённые или смерть, которая может прийти в любую секунду, а знать наверняка, что будет завтра, и не иметь возможности объяснить это тем, кто ещё живёт сегодня.

БМВ тронулась с места плавно и почти бесшумно, как крупный хищник, сытый и потому снисходительный, унося масика вместе с кожаным салоном и кондиционированным воздухом. Даша повернулась у подъезда, и взгляд её, скользнул по мне, по моим старым джинсам с потёртыми коленями, потёртым кроссовкам и лёгкой ветровке, совершенно не подходящей для

ноября, и по четырём пакетам. Взгляд на миг задержался, и в нём мелькнуло выражение, которое я знал слишком хорошо. Мимолётное, скользкое презрение, настолько привычное, въевшееся в подкорку, что она, вернее всего, даже не осознала его. Это вылетело наружу автоматически, как рефлекс, как чих, как отмашка от назойливой мухи. Я был для неё не человеком, а неудачной, нарушающей гармонию утра, деталью интерьера. Ничего удивительного если твоё утро началось с салона дорогой машины. Она отвернулась и толкнула дверь подъезда плечом, потому что руки, разумеется, были заняты телефоном. Фиолетовый хвост качнулся между лопаток, и я поймал себя на том, что смотрю ей вслед и злюсь на собственное тело, которое, точно нашкодивший пёс, реагировало на неё вопреки всякой логике.

Дверь хлопнула за ней, глухой звук, с лязгом металлической пружины прозвучал как финальный аккорд. Я остался стоять с пакетами. В голове крутилось только, то что через десять дней будешь как миленькая жрать эту гречку, сидя на полу моей кухни, и благодарить всех богов, реальных и вымышленных, за каждую ложку. Имел ли я право на эту злость? Сказать сложно...

Выкинув ненужные сейчас мысли, перехватил пакеты поудобнее чувствуя, как кровь возвращается в онемевшие кисти колючими, злыми иголками, и двинулся к подъезду. Дверь поддалась легко, пропустила меня внутрь. Поднимался медленно, ставя ноги на каждую ступеньку с осторожностью, которая успела стать частью тела. К своему этажу я дышал так тяжело, что рёбра болели, точно их раздвигали изнутри тупым, неудобным инструментом. Восемь отжиманий, несколько бутылок и четыре пакета — моя личная арифметика позора.

В квартире я сгрузил пакеты на пол кухни, и консервы, освобождённые от пут полиэтилена, разъехались по линолеуму с глухим, стеклянно-жестяным перестуком. Пальцы разогнулись с трудом, с неохотой, как разгибаются пружины в старом, перетянтом механизме. Сел на табуретку, вытянул ноги и уставился на гору еды перед собой, пытаюсь привести дыхание в порядок.

Выглядело это внушительно — гора жестянок и пачек на полу моей кухни напоминала баррикаду, наспех возведённую из подручных материалов для защиты от неведомого врага. Вот только, враг был известен слишком хорошо, и баррикада эта, при всей своей материальной весомости, казалась жалкой, почти игрушечной. По ощущениям — как крепость из консервных банок. По расчёту — недели на три при жёстком рационе, на полторы при нормальном питании двоих. Если добавить то, что лежит в гаражах...

Отчётливая мысль о гаражах всплыла сама, точно пузырь из болотной тины, с особенным запахом, какой бывает у всего, что слишком долго пряталось на дне. В подвале гаражного кооператива через дорогу, на бетонном полу, затянутом многолетней пылью, стояли мои трёхлитровые банки — мамины закрутки, огурцы и помидоры в мутном рассоле, которые я свозил туда два года назад, перебирая наследство и не в силах выбросить последнее, что от неё осталось. Я не мог их есть — не потому, что они испортились... Просто каждый раз, открывая банку, словно заглядывал в пустую комнату, где мамы больше не было. Рядом, в соседних боксах, на ржавых стеллажах теснились чужие запасы — банки, покрытые такой плотной, вековой пылью, что этикетки читались с трудом, словно надписи на древних скрижалях. Коробки с консервами, забытые хозяевами, которые когда-то, в эпоху великого дефицита, запасались на чёрный день, а чёрный день всё не наступал, и они перестали ездить в свои гаражи, перестали проверять запасы, а потом, вернее всего, и вовсе забыли о них. Кому-то из этих неведомых хозяев оставалось жить три недели, они об этом ещё не подозревали, и это неведение казалось мне одновременно благословением и насмешкой.

Моральное решение было простым. Ведь пыльные и забытые месяцами и годами припасы никому не нужны сейчас, и через три недели за ними хозяева с вероятностью, близкой к абсолютной, уже никогда не придут. Потому что умрут или превратятся в заражённых. Им будет

совершенно безразлично, кто забрал их трёхлетнюю тушёнку из гаражного бокса. Большинство из них перестанет существовать в привычном смысле слова — не умрёт даже, а именно перестанет существовать, превратится в нечто, для чего консервы в жестяных банках значат не больше, чем камни на дороге. Свежие запасы — с чистыми, читаемыми этикетками, без пылевого налёта, с недавними датами производства я трогать пока не собирался. Они принадлежали людям, которые ещё приезжают в свои гаражи, открывают их, возятся с машинами, и забирать у них пищу до того, как мир рухнет, было бы воровством, настоящим, без всяких скидок на обстоятельства. И что важнее, без какого-либо рационального оправдания.

Разница тонкая, как грань, за которой предусмотрительность переходит в паранойю. Я знал, что любой психиатр, да и любой здравомыслящий человек квалифицировал бы мои рассуждения как бредовый синдром с делюзорным компонентом. Знал и плевал на это знание с высокого дерева собственного отчаяния, потому что психиатры через три недели будут жрать друг друга в коридорах Склифосовского не в переносном, а в самом буквальном, физиологическом смысле, когда голод перевесит клятву Гиппократата и все профессиональные деформации. И тогда станет совершенно безразлично, кто из нас был прав, а кто — кандидатом на принудительное лечение, мягкую комнату и смирительную рубашку.

Я достал телефон, провёл пальцем по холодному стеклу экрана, открыл браузер и набрал в поисковой строке: «арбалет купить Москва доставка».

Экран загрузился почти мгновенно, интернет работал ровно, стабильно, с привычной для мирного времени скоростью, которая очень скоро начнёт падать, спотыкаться и терять пакеты данных. Результаты поиска выстроились столбиком, аккуратными синими ссылками: магазины охотничьих товаров, спортивные арбалеты для развлечения, детские игрушки с присосками — чрезвычайно полезные против того, что ломится в дверь с намерением разорвать тебе горло, ирония выходила чёрной. Нормальный арбалет, рекурсивный, с натяжением от ста пятидесяти килограмм, стоил от двадцати до сорока тысяч рублей — денег, которых у меня после сегодняшней закупки оставалось меньше восемнадцати тысяч. Более дешёвые варианты — за восемь, десять, двенадцать тысяч — существовали, но доставка занимала от трёх до семи рабочих дней, а некоторые магазины и вовсе требовали самовывоз со склада в промзоне на другом конце Москвы, куда пришлось бы ехать через полгорода, теряя время, которое и так работало против меня.

Я пролистал несколько страниц, вчитываясь в характеристики и отзывы с жадным вниманием, с каким раньше читал только посты на книжном форуме, где Лера и я сражались на виртуальных шпагах из-за трактовок булгаковских героев. Арбалет решал главную проблему — тишину. Болт, выпущенный из тугого плеча, летел тихо, без грохота и без вспышки, без акустического удара. Перезарядка медленная — двадцать, тридцать секунд, если руки трясутся, а они будут трястись, обязательно будут, и это минус, существенный, почти фатальный. Болтов в комплекте обычно шесть штук, докупить можно, но каждый стоит как полноценный обед. Пробивная сила у приличного арбалета достаточная, чтобы пробить череп на расстоянии до тридцати метров, если целиться умеючи.

Вот только целиться я умел примерно так же, как играть на виолончели, то есть теоретически понимал принцип, знал, где у инструмента гриф, а где смычок, но практический результат, вышел бы жалким. Однако арбалет, думал я, прощает неопытность легче, чем лук. У него есть механический спуск, прицельная планка, фиксированное натяжение, всё это сводит ошибку стрелка к минимуму, превращая попадание из искусства в ремесло. Три дня тренировок во дворе, и я, вероятно, мог бы попадать в мишень размером с человеческую голову на десяти-пятнадцати метрах. Вероятно... Допущений при этом расчёте было столько, что они заслоняли сам расчёт, точно туман.

Я закрыл вкладку с арбалетами, открыл карту района и принялся планировать.

Первое — еда. Закончить с закупками, пока работают магазины и не поднялись цены. Гаражи: забрать все свои банки с мамиными закрутками. Сделать ещё одну закупку в супермаркете на оставшиеся деньги, но уже с прицелом не на крупы, а на медикаменты: бинты, стерильные салфетки, перекись водорода, антибиотики в таблетках (широкого спектра, потому что неизвестно, какая зараза войдёт в рану), обезболивающее, желательное в ампулах. Всё, что в прошлый раз кончилось раньше еды, раньше воды.

Второе — оружие. Арбалет с доставкой за три дня, если повезёт с наличием на складе. Плюс монтировка из гаража — проверенная, с обмотанной синей изолентой рукоятью, которой я проламывал черепа журам с методичностью дровосека до самого финала, когда она перестала помогать, потому что на одного с монтировкой всегда находилось трое с голодными ртами. К монтировке — труба из гаража, полтораметровая, тяжёлая, с заглушками на концах, я приваривал их когда-то для какого-то нелепого подросткового проекта и забыл, а теперь эта труба станет моим новым копьём. И нож — хороший, кухонный, с широким лезвием из дамасской стали, подарок отца, лежащий в ящике стола нетронутым четыре года. Для ближнего боя, который я ненавидел всем телом.

Третье — тело. Моё собственное, жалкое тело, расплатившееся за четыре года затворничества слабыми мышцами и сбитым дыханием. Тренировки с сегодняшнего вечера, ежедневно, без пропусков и скидок на усталость. Отжимания, приседания, планка, бег по лестнице — до дрожи в коленях, до свиста в лёгких, до той приятной пустоты в голове, какая наступает, когда физическое страдание вытесняет все прочие мысли. Шансы на то, что успею привести себя в сколько-нибудь приличную форму за оставшиеся дни, я оценивал невысоко, но тренироваться собирался так, будто от этого зависела жизнь. Потому что теперь действительно зависела. Не только моя.

Четвёртое касалось Леры... Валерии...

Я опустил телефон на стол и долго смотрел на экран, который через тридцать секунд бездействия послушно погас, превратившись в чёрное зеркало, в глубине которого плавало моё размытое, искажённое отражение. Человек из текстового окна, из бесконечной переписки на литературном форуме, голос которого я никогда не слышал вживую, он смотрел на меня сейчас с этого тёмного стекла, и я не знал, кто из нас реальнее. Мы спорили о «Мастере и Маргарите» с такой яростью, с таким упоением, что модераторы дважды выносили нам предупреждения, она защищала Воланда как трагическую фигуру, я клеймил его как сатирическую маску, и ни один из нас за полгода ожесточённых дискуссий ни разу не уступил другому ни миллиметра идейного пространства. Мне были известны её ник, причудливый, составленный из латинских букв и цифр; аватарка — рисунок чёрного кота, возлежащего на стопке книг с таким видом, будто весь мир принадлежит ему по праву сильного, манера писать длинные, витиеватые сообщения, щедро пересыпанные цитатами из первоисточников и академическими сносками. Она жила в общежитии, училась или учится, в её сообщениях мелькали упоминания лекций, семинаров, преподавателей, отвечала на мои сообщения в четыре утра, писала стихи, которые никому не показывала, кроме форума, и в этих стихах мне иногда чудилось что-то очень личное, интимное, хотя, возможно, я просто выдавал желаемое за действительное.

И ещё мне было известно то, что я не имел права знать, но знал, носил в себе, как занозу, засевшую где-то под сердцем: её последнее сообщение — то, после которого связь оборвалась и форум погрузился в тишину, а мессенджер перестал отвечать даже гудками. Я прекрасно его помнил. Звучало оно так: «Я в общаге. У нас на этаже уже... Артём, я боюсь». Я перечитывал эти строки сотни раз, запомнил их наизусть. В них остался её испуганный и срывающийся голос, которого никогда не слышал. И каждый раз у меня внутри что-то обрывалось с мокрым, болезненным хрустом.

## Глава 5

Я разблокировал экран, открыл мессенджер, нашёл наш чат. Последнее сообщение от неё — вчерашнее, ночное, отправленное в 02:47 с точностью до минуты, представляло собой длинный, страстный абзац про «Собачье сердце», украшенный тремя восклицательными знаками и ссылкой на статью, которую я так и не открыл. Обычный текст обычного человека, живущего обычной жизнью, в которой самая большая проблема на данный момент, это преподаватель, занижающий оценки за сочинения. Я смотрел на эти буквы, на эти знаки препинания, на эти знакомые, почти родные обороты, и не мог заставить себя написать ответ. Потому что что я мог ей сказать? «Через неделю начнётся ад, и ты умрёшь, если не сделаешь то, что я тебе скажу»? Она примет меня за сумасшедшего, заблокирует, и я потеряю последнюю ниточку, связывающую меня с ней.

Действительно... Что ей написать? «Привет, через неделю начнётся конец света, запасайся тушёнкой»? Она решит, что я свихнулся, заблокирует меня и будет права, права настолько, насколько вообще может быть права женщина, которой пишет подобный бред мало-знакомый сетевой собеседник. «Привет, у меня был вещий сон, мне нужно поговорить»? Это звучало как начало плохого фильма ужасов категории «Б» или, что ещё унизительнее, как подкат одинокого мужчины к девушке из интернета, маскирующего своё влечение под мистику и душевные откровения. Слишком похоже на чушь, лишь бы привлечь внимание. Я представил её лицо, читающей такое. Оно наверняка будет насмешливым, скептическим, с той долей безразличности, с какой умные люди читают спам в почте... И мне стало дурно.

Доказать ей я ничего пока не смогу. Мои доказательства, это воспоминания о жизни, которой ещё не случилось. Всё это не имело веса в мире, где работал интернет, где по телевизору показывали ток-шоу, а на улицах люди спешили по делам. Время для доказательств наступит через неделю, когда появятся первые странные новости о необъяснимых случаях агрессии, карантинные зоны, военные кордоны у больниц, и тогда мой голос, быть может, приобретёт вес. Сейчас он весил столько же, сколько и мои восемь отжиманий.

Но ждать целую неделю, молча наблюдая, как она пишет мне про Булгакова, про «Собачье сердце», про профессора Преображенского и Шарикова, зная, что через двадцать один день она будет сидеть на полу в коридоре общежития, набирая на телефоне: «Артём, я боюсь, они уже здесь, я слышу их за дверью», ждать было невыносимо на уровне тела, на уровне кожи, как держать руку над огнём, зная, что можно убрать, и считать секунды, и каждая секунда отдавалась болью во всём существе.

Я набрал сообщение: «Привет. Ты сегодня вечером будешь онлайн? Хотел поговорить, есть тема помимо Булгакова». Перечитал дважды, стёр, слово «тема» слишком размыто, слишком официально, отдаёт деловым предложением. Написал «есть разговор помимо Булгакова». Опять перечитал. Разговор это тоже расплывчато, но хоть звучит человечнее. Палец завис над экраном, и я снова представил её лицо — не конкретное, не виденное никогда, а воображаемое, составленное из тысяч её слов, интонаций, манеры ставить смайлики и вдруг переходить на серьёзный, почти академический тон. Что она подумает? Решит, что я наконец созрел для личного? Или что у меня проблемы и я ищу поддержки? И то и другое было, в сущности, правдой, только правда эта лежала в таких глубинах, куда ни одно сообщение не донырнёт.

Я нажал «отправить», прежде чем внутренний цензор успел остановить палец. Телефон пискнул, отправляя сообщение в цифровое пространство, которое пока ещё работало исправно. Ответа можно было ждать до вечера, Лера отвечала быстро только по ночам, а днём пропадала на часы, появляясь в сети короткими рывками, как рыба, выныривающая за воздухом, и так же быстро исчезая в глубине.

Отложил трубку, поднялся с табуретки и посмотрел на гору провизии на полу кухни. Жестянки и пачки лежали неровными штабелями, напоминая баррикаду, возведённую на скорую руку. Потом на часы — девять тридцать семь утра шестого ноября две тысячи двадцать шестого года. Потом в окно, за которым всё тот же серый ноябрьский двор жил своей слепой, беспечной жизнью. По асфальту шла женщина с коляской, мужчина в тёмной куртке торопился к остановке, из подъезда выбежал ребёнок с портфелем — наверное, опаздывал в школу. Никто из них не догадывался, что их дни сочтены, что через две недели этот двор превратится в филиал ада, где по асфальту будут ползти не коляски, а тени с разорванными ртами. Эта слепота была одновременно успокаивающей и чудовищной.

Первым делом я решил идти к гаражам, пока на улице светло, а мир занят своими делами и никому нет дела до парня в потёртых кроссовках, который тащит из гаража трёхлитровые банки с огурцами. В том, что я собирался сделать, не было ничего противозаконного, банки были моими, гараж был моим, но ощущение неправильности, почти воровства, не покидало меня. Ведь крал я у своего прошлого, у той жизни, где мама закатывала эти огурцы с любовью и надеждой на будущее, которое никогда не наступит. Крал и у отца его ледоруб, его верёвки, его мечты о горах, которые рассыпались под лавиной в одну секунду. Но другого выхода не было. Мёртвым эти вещи уже не потребуются, а мне... Мне — ох как нужны.

Я натянул куртку, сунул в карман фонарик и связку ключей, среди которых болтался маленький, покрытый ржавчиной ключ от гаражного бокса — единственное наследство отца, которое я до сегодняшнего дня считал бесполезным, символом прошлого, не имеющим отношения к настоящему. Проверил, закрыта ли дверь на оба замка, проверил второй раз — привычка из жизни, которой по идее ещё предстояло случиться, но которая уже въелась в подкорку, как запах гари въедается в одежду после пожара.

Вышел из квартиры тихо, придерживая замок ладонью, чтобы язычок не щёлкнул слишком громко. Лестничная клетка встретила меня запахом капусты и кошачьей мочи — привычным, почти родным запахом старого панельного дома, который через три недели станет невыносимым из-за примеси разложения.

Маршрут к гаражам я знал до шага — через дорогу, тридцать секунд неспешным шагом. Тот же путь, та же калитка, тот же ключ, который дали ещё родителям. Разница была в том, что в прошлый раз я шёл сюда голодный, насмерть перепуганный, с ледорубом в руке и привкусом желчи во рту, а сейчас просто перешёл дорогу, пропустив пожилую женщину с тележкой на колёсиках, которая тащила за собой авоську с хлебом и молоком, вставил ключ в замок общей калитки и вошёл внутрь.

Ряды металлических гаражей тянулись вглубь, как надгробья на кладбище, и пошёл в самый конец — к своему боксу, предпоследнему от стены. Замок открылся со второй попытки, створка, взвизгнув несмазанными петлями, скрежетнула по бетону, и внутрь хлынул серый свет ноябрьского утра, осветив пыльный пол и стеллажи, заставленные коробками.

Всё на месте — удочки, рыболовные снасти, коробки, ящики и пыль, много пыли, лежавшей на каждой поверхности серым невесомым слоем, который копится годами, когда хозяин заходит раз в полгода и то по ошибке. Машины не было, «жигуль» отец продал ещё когда мне было четырнадцать, на запчасти, а новую так и не купил, потому что деньги уходили на снаряжение, на треки, на перепады высот и ночёвки под открытым небом. Он называл это свободой. Мама улыбалась и шла рядом. Потом лавина и в моей жизни наступила тишина, которая длилась четыре года и закончилась двадцать седьмого ноября.

Я включил фонарик и осмотрелся уже по-настоящему — медленно, полка за полкой, ящик за ящиком, с тем вниманием, которого у голодного перепуганного меня тогда не было, когда хватал консервы трясушимися руками и считал секунды до того, как шарканье за стеной станет ближе. Сейчас шарканья не было, была только тишина, нарушаемая моим собственным дыханием и далёким гулом машин за забором.

На нижней полке, где лежали доски и металлические уголки, примостился самодельный стеллаж, на котором стояли мамины закрутки. Трёхлитровые банки в три ряда, стекло к стеклу, с укропными зонтиками и листьями хрена, прижатыми к стенкам изнутри. Они напоминали фотографии из прошлой жизни, застывшей в рассоле. Огурцы в мутноватом рассоле, крышки без вздутия. Помидоры красновато-бурые, крупные, с трещинками на кожице. Лечо густое, тёмное, с кусочками перца. И кабачковая икра. Её мама делала по особому рецепту, с луком и морковью, и это было самое вкусное, что я пробовал в детстве. Закатано летом двадцать третьего, хранилось в прохладе, без прямого света — по всем признакам, должно было дожить до того дня, когда я открою первую банку дрожащими руками. Одиннадцать трёхлитровых, тридцать три литра овощей — именно то, что мне было нужно, потому что на одной крупе кишечник встанет через неделю, и я это помнил отчётливо. Живот вздувало, газы мучили, хотелось чего-то кислого, острого, живого, а не этой пресной варёной массы.

Выше, на средней полке, лежало то, мимо чего я тогда пробежал, даже не повернув головы, потому что всё внимание было приковано к еде. Отцовское снаряжение — горное, походное, всё ещё упакованное в те же чехлы и мешки, в которых родители вернулись из предпоследнего похода. Ещё один ледоруб в брезентовом чехле, как тот, которым я потом проламывал черепа журам с точностью, удивлявшей меня самого. Карабины, штук шесть, блестящие, без ржавчины, смазанные, отец относился к снаряге как к оружию. Чистил, сушил, укладывал по системе после каждого похода. Верёвка была метров двадцать, может больше, толстый нейлон, выдерживающий полтонны на разрыв. Стропы, каремат, скрученный в тугий рулон, налобный фонарь, газовая горелка с двумя баллонами, всё это лежало так аккуратно, словно отец собирался в поход завтра. Четыре года в гараже ничего не испортили, металл был сухой, верёвка целой, газ зашипел с первого раза, когда я повернул вентиль, и это шипение прозвучало как привет из прошлого, оттуда, где пахло костром и сосновой смолой.

И в дальнем углу, за коробкой с удочками, стояли ещё две литровые банки с жёлтыми жестяными крышками, на которых от времени проступили рыжие пятна. Я вытащил их на свет и повертел в руках. «Говядина тушёная», этикетки выцвели так, что буквы читались с трудом, дата — не разобрать, то ли двадцать первый, то ли двадцать второй год. Жир застыл сверху желтоватым слоем, напоминающим старый воск, под ним угадывалось тёмное мясо. Крышки сидели плотно, вздутия не было ни на одной. Мясо в стекле — это всегда лотерея, русская рулетка с ботулизмом. Если крышка хоть раз потеряла герметичность, содержимое превращается в яд, убивающий за двое суток в страшных судорогах. Я покрутил банку ещё раз, посмотрел на просвет сквозь стекло: мутноватое, но пузырей и плесени на внутренней стороне крышки не было. Я решил рискнуть, прокипячу двадцать минут перед тем, как есть, ботулотоксин при ста градусах разрушается, и если повезёт, у меня будет ещё два килограмма настоящего мяса.

Тринадцать штук стекла плюс отцовские вещи, все это тянуло килограммов на пятьдесят, не меньше. За один рейд я это не подниму на второй этаж без последствий для спины. Четыре ходки минимум, а с моими восемью отжиманиями — скорее пять, и каждая будет напоминать мне о том, в какое жалкое состояние я привёл своё тело, которое через три недели должно будет драться за жизнь.

Первую партию я загрузил в отцовскую армейскую сумку с нашивками, которую он брал в горы. Огурцы и помидоры, восемь трёхлитровых банок, двадцать четыре литра стекла и рассола. Лямка врезалась в плечо с такой силой, что я на мгновение испугался, что кость хрустнет. К подъезду я дошёл с перекошенной спиной, стараясь не встречаться взглядом с прохожими, чтобы никто не спросил, зачем я тащу эти банки и не помочь ли. Помощь была последним, что мне требовалось. Поднялся на свой второй этаж, сгрузил всё на кухню рядом с горой из магазина, банки глухо звякнули, соприкоснувшись с жестянками, и пошёл обратно, почти бегом, потому что время утекало сквозь пальцы, как вода.

На втором заходе в квартиру отправились лечо, икра, мясные закрутки в стекле. И ещё столкнулся на лестнице между с тётёй Зиной.

Грузная, шумная, в цветастом халате поверх тёплая кофта, в руках неподъёмный пакет и связка ключей в другой.

Сейчас она посмотрела на мои пыльные руки и сумку, из которой торчали трёхлитровые банки с мутным лечо сверху вниз, и подняла бровь с тем выражением, которое у неё означало «ну-ка, рассказывай, что затеял».

— Артём, ты что, закрутки таскаешь? — спросила она тем самым голосом, добродушно-ворчливым, от которого у меня каждый раз сжималось что-то в груди, потому что он напоминал маму.

Мама точно так же прищуривалась, когда я в подростковом возрасте приносил домой подозрительные свёртки или пытался соврать, куда иду.

— Из гаража, что ли? Ох и дурак же ты, Артём, надорвёшься ведь. Вон банки какие тяжёлые, трёхлитровые.

Я остановился, перехватил лямку поудобнее, но безуспешно, она всё равно резала плечо. Стараясь дышать ровно, посмотрел на неё. И перед глазами, секундной, но ослепительно яркой вспышкой, мелькнуло другое. Эта же заколка, но криво, почти горизонтально торчащая из грязного, свалывшегося колтуна и мёртвые, подёрнутые белёсой плёнкой глаза, остановившиеся и ничего не выражающие, кроме последнего, животного голода, который уже не имел отношения к прежнему человеку. Мои собственные руки, с непривычной, омерзительной ловкостью волокущие её тело по шершавому бетону лестничной клетки к чёрной пасти мусоропровода, и стоптанный тапочек с розочкой, такой же, как на заколке, который никак не хотел спадать с холодной, уже начавшей коченеть ноги. Затем глухой, шуршащий, какой-то утробный звук тела, уходящего в чёрную дыру шахты, тяжёлый, окончательный удар где-то глубоко в подвале.

Воспоминание длилось долю секунды, но успело оставить во рту привкус тошноты. Я сглотнул, прогоняя видение, и ответил, стараясь, чтобы голос звучал ровно и буднично:

— Ага, Зинаида Михайловна. На дачу собираюсь, за город. Хочу всё сразу загрузить, на зиму, чтобы два раза не ездить. Там и картошка своя будет...

— А что ж ты их домой-то тащишь, Артём? — она прищурилась, и в глазах её зажглось не просто любопытство, а то особенное, материнское беспокойство, от которого у меня каждый раз сжималось сердце. — Грузил бы сразу в машину. А то натаскаешься туда-сюда, спину сорвёшь. Вон какие банки тяжёлые, трёхлитровые. Я в твои годы такие по две зараз таскала, а сейчас и одну уже... Эх...

— Они пыльные, — ответил я, чувствуя, как ложь вязнет на языке, превращаясь в липкую кашу. — Стояли два года в гараже, видите серые все, паутиной затянутые. Не хочу в багажник пачкать, там иномарка новая, китайская, муж сестры купил, а он чисто плотный... Сейчас дома протру тряпочкой, подготовлю, когда за мной приедут, загрузим уже чистыми.

Она кивнула, принимая объяснение, и в этом кивке было что-то такое знакомое, родное, что у меня на секунду защемило в носу. Я смотрел на неё и думал, что через две недели, максимум через три, ты умрёшь. Или не просто умрёшь, а превратишься в то, что я буду вынужден убить во второй раз и тащить к мусоропроводу. И никто тебя не будет оплакивать, потому что оплакивать будет некогда и некому. И я, если выживу, буду вспоминать этот разговор на лестнице, вот этот, самый обычный, ничем не примечательный разговор о пыльных банках и выдуманной китайской иномарке. И думать буду, что ведь мог бы её предупредить. Мог бы сказать... А что собственно сказать-то? Тётя Зина, через три недели вы станете одной из них, и мне придётся вас убить. Но я не скажу, потому что она не поверит, потому что это звучит как бред сумасшедшего, и нет доказательств, кроме воспоминаний о жизни, которой ещё не было.

Она кивнула с тем удовлетворённым видом, с которым принимают логичное объяснение, и посторонилась, пропуская меня на лестницу. Связка ключей звякнула у неё в руке, звук, мелодичный, переливчатый, и у меня по спине прошёл холод.

— Маминих-то рук дело? — спросила она мне вслед, кивнув на закрутки.

— Маминих, — ответил я, не оборачиваясь.

— Царствие небесное, — сказала тётя Зина тихо, и я услышал, как она перекрестилась.

— Хорошие были люди, Артёмка, хорошие были.

Оставалось только кивнуть.

— Ну смотри, — сказала она, поправляя тяжёлый пакет в руке, из которого торчала бутылка кефира и батон колбасы. — А то помрёшь с такой нагрузкой, кто твои банки есть будет? Я, что ли? Я своё уже отъела, мне теперь на диете сидеть, врачи велели холестерин снижать.

Она добродушно, чуть клопочуще засмеялась, да и пошла вверх по лестнице, громяхая ключами. Я чувствовал, как внутри меня разворачивается тугая, холодная пружина. Звук её шагов затих где-то на четвёртом этаже, хлопнула дверь, и в подъезде снова воцарилась ватная тишина.

## Глава 6

Я постоял ещё секунду, прислушиваясь к этой тишине, к собственному дыханию, к стуку сердца, отдающемуся в висках, и понял, что снова «залип» на ровном месте. Это привычка из того мира, который ещё не наступил.

Выгрузил банки и пошёл вниз, к выходу, на третью ходку. Ноги сами несли меня по знакомым ступеням, руки, не думая, перехватывали лямку, глаза автоматически обшаривали углы в поисках опасности, этот рефлекс уже не отключался, даже здесь, в мирном, ещё не тронутым хаосом подъезде. Даже не пытался бороться с этим, потому что знал, что через три недели он станет единственным, что отделяет меня от смерти.

В гараже я загрузил вторую партию — оставшиеся банки с огурцами и помидорами, лечо, икру, те две мясные, которые решил пока не трогать, оставил на потом, потому что они тяжелее и рискованнее. Вместо них я взял отцовское снаряжение: ледоруб в чехле, он весил прилично, килограмма три, но лямка распределяла вес, и я повесил его на плечо отдельно, поверх сумки; моток верёвки — метров двадцать, нейлоновой, толстой, той, которой потом буду связывать узлы на дверях, налобный фонарь и газовую горелку с двумя баллонами поставил в отдельный пакет, чтобы не гремели. Карабины и стропы я решил оставить на потом, они не сгорят, не испортятся, так что подождут.

На третьем заходе, когда я, нагруженный уже под завязку, выходил из калитки гаражного кооператива, я снова увидел Дашу. Она стояла у того же подъезда, только теперь не одна. Рядом с ней, переминаясь с ноги на ногу и пряча руки в карманы короткой, явно не по погоде куртки, топтался молодой тощий в очках с толстой чёрной оправой, какие сейчас носят все, кому не лень. На вид он был ровесником, может, чуть младше. Студент, подумал я. Сокурсник, приятель, может, бывший, а может, и не бывший, а просто тот, кто надеется стать «масиком», когда надоест предыдущий. Даша что-то говорила ему, жестикулируя свободной рукой, телефон она держала в другой, прижатой к уху, и в её движениях было знакомое нетерпение и раздражение. Она явно от кого-то пряталась, от кого-то, кто звонил ей, и этот парень в очках был просто ширмой, прикрытием, живым доказательством того, что она занята, что ей некогда, что она не одна.

Парень в очках кивал, глядя на неё снизу вверх, она была чуть выше на каблуках, и в его взгляде читалось обожание напополам с неуверенностью, готовность сделать всё, что скажут, лишь бы не прогнали. Жалкий вид... И тут же поправил себя: нет, не жалкий. Нормально это. Очень по-человечески. Но через три недели ты, парень, будешь либо мёртв, либо превратишься в то, что бродит по улицам в поисках живого мяса, и твои очки в чёрной оправе будут валяться где-нибудь в луже крови, растоптанные чьими-то ногами. А она будет сидеть на полу моей кухни и жрать гречку, и, возможно, никогда больше не вспомнит, как ты смотрел на неё сейчас.

Я прошёл мимо них, стараясь не привлекать внимания, но сумка с банками звякнула, и Даша, оторвавшись от телефона, скользнула по мне взглядом. Тот же мимолётный, оценивающий взгляд с той же примесью брезгливости, что и утром. И снова она меня не узнала. Конечно, не узнала. Для неё я был просто одним из многих, случайным прохожим, деталью пейзажа. И в этом было что-то до того обидное, что я на секунду захотел остановиться, подойти к ней и сказать: «Через десять дней ты будешь умолять меня, чтобы я впустил тебя в свою квартиру. Через десять дней ты забудешь, как звали твоего масика, и будешь вздрагивать от каждого шороха. И тогда ты посмотришь на меня совсем по-другому». Но я, разумеется, ничего не сказал. Прошёл мимо, чувствуя на спине её равнодушный взгляд и взгляд того парня в очках, который, кажется, даже не заметил меня, потому что был занят другим. Вернее другой.

Я открыл дверь подъезда, вошёл внутрь, и только там, в тишине лестничной клетки, позволил себе выдохнуть. Прислонился спиной к стене, поставил сумку на пол, вытер пот со лба.

Сердце колотилось где-то в горле, и я не мог понять, это от нагрузки или от того, что только что увидел. Или от всего сразу.

За четвёртый набег на гараж я забрал оставшиеся банки, карабины, стропы, старый отцовский рюкзак, в который можно было сложить всё это барахло, чтобы не таскать руками. Рюкзак был большой, армейского образца, с кучей карманов и нашивок, которые отец когда-то пришивал сам, сидя на полу и мурлыкая под нос какие-то туристические песенки. Я помнил этот ритуал, сидит он, скрестив ноги, вокруг него разложены карабины, верёвки, какие-то железки, и он с сосредоточенным лицом прилаживает очередную нашивку к лямке, а мама ходит рядом и говорит: «Серёжа, ну сколько можно, пойдём уже чай пить». А он поднимает глаза, улыбается и говорит: «Сейчас, Лен, ещё минуту». Минута растягивалась на час, но мама не сердилась. Она садилась рядом и смотрела, как он колдует над своим снаряжением, и в её взгляде было столько любви, что, казалось, ею можно было осветить всю квартиру.

Я встряхнул головой, отгоняя воспоминания. Не время. Не место. Сейчас не до этого.

Закинул рюкзак на плечо, подхватил последнюю сумку с банками и пошёл к выходу. На пороге гаража остановился, окинул взглядом опустевшие полки. Всё ценное я забрал. Остался хлам — удочки, старые журналы, крышки, банки с краской, которая давно высохла. Это могло подождать. Если будет время, если получится, я вернусь и разберу всё. Те же крышки, если нашить их на брезентовую штормовку могут послужить неплохой защитой от зубов заражённых. А если не вернусь, что ж, значит, не судьба.

Я вышел, запер гараж на тот же ржавый замок, сунул ключ в карман и двинулся обратно к дому. Даши и её кавалера у подъезда уже не было. Я поймал себя на том, что ищу её взглядом, и тут же одёрнул себя. Думать нужно было о деле. О делах... Которых впереди непочатый край.

Дома я сгрузил всё на кухню, и теперь пространство у стены напоминало склад районного масштаба: горы консервов, пачки с крупой, бутылки с водой, банки с закрутками, рюкзак со снаряжением, ледоруб в чехле, прислонённый к холодильнику. Я стоял посреди этого богатства, уперев руки в боки, и пытался сообразить, с чего начать.

Телефон пискнул — сообщение.

Я подошёл, взял его в руки, разблокировал экран. Лера.

«Привет) Вечером буду, после шести. Что за разговор? Ты меня пугаешь своей серьёзностью))»

Я перечитал сообщение дважды. Смайлик. Скобочка. Обычное, лёгкое, ничего не значащее сообщение, каких между нами были сотни. И в этой лёгкости, в этой беззаботности, в этой вере в то, что впереди ещё много вечеров и много разговоров о Булгакове, было что-то до того острое, до того невыносимое, что у меня перехватило горло.

Я набрал ответ. Стер. Набрал снова. Опять стер. Потом, решившись, написал:

«Договорились. Напишу после шести. Ничего страшного, просто есть идея для одной статьи, хочу с тобой посоветоваться».

Отправил и отложил телефон. Статья. Какая, к чёрту, статья, когда через неделю рухнет мир. Но другого предлога я не придумал, а говорить ей правду сейчас, вот так, в сообщении, было нельзя. Она не поймёт. Никто не поймёт.

Посмотрел на часы — десять сорок семь. У меня было ещё почти семь часов до того, как я смогу написать ей снова. Семь часов, за которые нужно было сделать столько, что голова шла кругом.

Я начал с разбора снаряжения.

Ледоруб вышел из чехла с лёгким, шелестящим звуком. Взял его в руку, взвесил, привыкая к тяжести. Хороший инструмент. Таким можно не только лёд рубить, им можно черепа проламывать с тем же успехом, если знать куда бить. Я знал. Опыт той, будущей жизни, стоял перед глазами, я бил ледорубом снова и снова, и лица журинов превращались в кровавое месиво,

и брызги летели во все стороны, и я не останавливался, пока они не переставали дёргаться. Я зажмурился, прогоняя видение, и положил ледоруб на стол.

Верёвку размотал, проверил на прочность. Натянул, подёргал. Держала. Нейлон, сто двадцать метров, выдерживает полтонны на разрыв. Отец знал, что покупать.

Карабины — шесть штук, старые, но без ржавчины, смазанные из нержавеющей стали. Я пристегнул один к ляжке рюкзака, просто так, на всякий случай.

Газовая горелка работала идеально. Два баллона, по пятьсот миллилитров каждый. Этого хватит на несколько недель, если только готовить и не жечь газ понапрасну.

Потом я перешёл к банкам. Расставил их по полкам, рассортировал. Огурцы к огурцам, помидоры к помидорам, лечо и икра — отдельно. Мясные пока оставил в стороне, решил, что вскрою одну сегодня вечером, проверю, не испортилась ли. Если испортилась, то выброшу. Если нет — оставлю на самый крайний случай, когда другой еды уже не будет.

Консервы из магазина я тоже перебрал, сложил в углу, ровными штабелями, как кирпичи. Гречка, рис, овсянка, тушёнка, рыба. Всё это теперь было моим. Моим и Дашиным, хотя она об этом ещё не знала.

Мысль о Даше снова кольнула, но я отогнал её. Не сейчас.

Я включил телевизор просто фоном, чтобы слышать, что происходит в мире. По всем каналам шла обычная утренняя муть: ток-шоу, реклама, новости про курс доллара и очередной скандал в Госдуме. Ни слова о странных случаях агрессии, о карантине, о военных у больниц. Всё было тихо. Пока тихо.

Выключил телевизор, потому что он меня начал раздражать. Подошёл к окну. За ним всё тот же серый двор, те же машины, люди, спешащие по своим делам. Жизнь шла своим чередом, и никто, кроме меня, не знал, что этот порядок всего лишь иллюзия, что тонкая плёнка нормальности вот-вот лопнет, и тогда хлынет такое, что не приснится и в самом страшном сне.

За окном заморосил мелкий и противный дождь. Капли стекали по стеклу, размывая очертания домов, и мне показалось на мгновение, что это плачет сам город, оплакивая свою скорую гибель. Но это было, конечно, глупостью. Городу было всё равно. Городу никогда не бывает больно.

К половине двенадцатого я сидел на кухне, ощущая себя загнанной лошадей. Тело, пропущенное через мясорубку физического истощения, гудело противной и болезненной вибрацией, что бывает после чрезмерного надрыва. Пять ходок на второй этаж. Казалось бы — ничтожная высота, но мышцы, отвыкшие от настоящей работы, мстили мне жестоко, отзываясь в каждом нерве тупой, ноющей ломотой. Я сидел, мокрый от липкого, холодного пота, и слушал, как бешено колотится сердце, выстукивая в висках ритм какой-то безысходной скачки.

Минут пять я просто выжидал, пока утихнет предательская дрожь в пальцах. Потом достал телефон и открыл заметки.

С банкомата было снято тридцать две тысячи. В «Пятёрочке» оставлено тринадцать тысяч шестьсот двадцать рублей, чек я сохранил с той педантичностью, что свойственна людям, привыкшим считать каждую копейку. Остаток — восемнадцать тысяч триста восемьдесят. За вычетом мелочи, растаявшей на проезд, сигареты и какую-то дрянь из автомата, вышло семнадцать с половиной тысяч чистыми.

А дальше вставал вопрос об арбалете. И здесь начиналось самое скверное.

Дешёвые поделки стартовали от восьми тысяч, серьёзные инструменты от двадцати. Двадцати у меня не было. Восемь были, но за эти деньги предлагалось ожидание в неделю и отсутствие всякой уверенности, что приобретённая игрушка пробыёт что-либо плотнее картона.

Я открыл браузер, вбил в строку поиска: «арбалет рекурсивный купить маркетплейс без разрешения». Экран высветил ряды предложений. Спортивные снаряды на «Озоне» и «Вайлдберриз», помеченные утешительным штампом «не является оружием». Натяжение до сорока трёх килограммов — юридический порог, за которым начинается зона лицензий, бумажной

волокиты и внимания органов. У меня не было ни времени, ни желания играть в законопослушного гражданина, но сорок три килограмма это девяносто пять фунтов. Болт, пущенный с такой силой, пробьёт фанеру, возможно, войдёт в мягкие ткани, но человеческий череп? На десяти метрах может быть. На двадцати вряд ли, если не метить снайперски в глазницу или висок.

Впрочем, ум изворотливый всегда найдёт лазейку. Спортивную модель можно было переделать. Например заменить плечи на более жёсткие, усилить тетиву, доработать направляющую, и вот уже в руках не игрушка, а охотничье оружие с натяжением под семьдесят килограммов. Сеть кишела этими знаниями, я увидел форумы, инструкции, тайные советы тех, кто жаждал убивать без дозволения. Я жадно проглотил несколько тем, выхватывая суть: «замена плеч», «алюминиевый профиль».

Тут боковое зрение зацепилось за мигающий баннер: «Ставки на спорт — бонус до 15 000#». Я хотел было смахнуть раздражающую картинку, но мысль, острая и циничная, пронзила мозг. Ставки. Если я действительно застрял во времени, если я знаю, что случится в ближайших три недели, почему бы мне не знать исходы матчей? Идея была столь проста и столь порочна в своей гениальности, что я разозлился на собственную тупость. Почему я не подумал об этом раньше?

Я открыл новую вкладку. Результаты турниров: футбол, хоккей, баскетбол. КХЛ, РПЛ, НБА. Я начал методично, с холодной расчётливостью переписывать счёт матчей в заметки. Если мне суждено проснуться шестого ноября в третий раз, я проснусь богатым. А деньги решали вторую проблему, которая сверлила мозг с момента, как я прошёл мимо тридцать четвёртой квартиры.

Та самая квартира на третьем этаже. Я её зачистил. Я своими руками выбросил в окно то, что было её жильцом. Она стояла пустая, идеальная, с окнами на две стороны, удобная для обороны. Но дверь... Дверь там была насмешкой, картонкой, которую можно вскрыть консервным ножом. Будь у меня сейчас лишние тридцать тысяч, я бы заказал срочную установку стальной двери. Я пришёл бы к тем людям, живым, ещё не знающим своего конца, и солгал бы. И лгал бы вдохновенно, сказав, что дверь досталась мне по акции, бесплатно, что у них маленький ребёнок и нельзя жить так беспечно. Кто откажется от бесплатной защиты? Я бы оставил себе дубликат ключа, и через три недели у меня была бы готовая крепость.

Но на счету было девять тысяч шестьсот. На арбалет хватало. На крепость — нет. Придётся ждать следующего раза, если он будет, и надеяться на алчность букмекеров.

Я вернулся к магазину. «МК-ХВ21 ВК», рекурсивный, сорок три кило, коллиматор, три болта. Семь тысяч девятьсот рублей. Доставка — два-четыре дня. Я взвесил эти цифры. Семь девятьсот из семнадцати пятисот. Остаток — девять шестьсот. На вторую закупку лекарств, на болты, на чёрный день. Негусто. Но жить можно.

Палец нажал «заказать». Данные, адрес пункта выдачи, оплата. Телефон пискнул, возвещающая списание средств. Деньги ушли в небытие, обменные на надежду получить посылку девятого ноября.

Я отложил телефон и откинулся назад, уперевшись спиной в стену. Кухня напоминала склад безумного выживальщика или декорацию к дешёвому фильму-катастрофе. Крупы, консервы, мутные банки с соленьями, горное снаряжение, горелка. Если бы кто-то вошёл сейчас, он решил бы, что я либо готовлюсь к ядерной зиме, либо окончательно повредился рассудком.

Девять тысяч шестьсот рублей в кармане. Арбалет в пути. Еды — на два месяца одному, на месяц вдвоём, если затянуть пояса. Медикаментов — смехотворно мало, на три пореза. Оружие — лом, ледоруб и нож. Через три дня приедет пластиково-металлическая смерть, которую ещё предстоит научить убивать.

Заносил всё это в заметки, строчка за строчкой, как бухгалтер, подводящий итог перед банкротством. Цифры на экране светились холодным светом, и в этом свете было больше успокоения, чем во всех моих лихорадочных мыслях о будущем.

## Глава 7

Гречка варилась в кастрюле, над которой я стоял с ложкой уже минут десять, гипнотизируя мутную воду. Зёрна набухали неохотно, источая нищий запах из студенческой молодости, который вряд ли кто-то назовёт ароматом дома. Маслить кашу я не стал. Масло это жир, а жир это долгосрочная энергия, которая кончится быстрее, чем соль, а та, в свою очередь, испарится раньше гречки. Привыкать к пресной, пустой еде лучше на берегу, пока разум ещё не затуманен голодом, а тело готово к лишениям. Две недели до этого отката я жрал слипшиеся макароны с тушёнкой и пустой рис, и к финалу мог бы, наверное, переварить и варёный башмак, будь в нём хоть калория.

Желудок напомнил о себе ненавязчивым, но уверенным урчанием. Этот звук сигнализировал о переходе границы между «терпимо» и «глупо терпеть». Последний приём пищи был часов пятнадцать назад. Сверху наложились пять ходок с грузом по лестнице. Организм имел полное право требовать сатисфакции. Самым простым решением было бы вскрыть банку тушёнки, вернуть её с хлебом, но меня остановила мысль о дисциплине. Если впереди два месяца автономки на крупах и консервах, жрать надо стратегически.

Я выхватил телефон, открыл браузер, вбил: «питание автономное выживание крупы рацион».

На меня вывалился ворох информации: от официозных нормативов МЧС до веток на форумах, где суровые мужики с аватарками волков обсуждали аминокислотный профиль сушёной картошки. Я открыл пару вкладок и углубился в чтение, выдергивая зерна истины из шелухи словоблудия.

Первое правило звучало банально до зубовного скрежета, но оттого не было менее верным — «плавный вход». Если резко перевести организм с шавухи и пивчанского на голую гречку, кишечник взбунтуется. Вздутие, спазмы, диарея — всё. Два-три дня будешь недееспособен, лежа пластом и сидя на толчке. До отката моя диета из тушёнки и риса обернулась двумя сутками на кафельном полу ванной. Тогда я думал, что отравился. Теперь понял в чём тут дело.

Второе правило — «жевать». Долго. Нудно. Тридцать раз на ложку. Неразжёванная до состояния киселя каша падает в желудок кирпичом, требуя тройной энергии на переваривание. Энергии, которая нужна ногам и мозгу, а не желудку.

Дробное питание — так звучало правило третье. Маленькие порции, строго по часам. Так метаболизм не падает в панический режим «копим жир любой ценой», а равномерно сжигает топливо.

И последнее, соль и сахар. Да, это не «белые враги человека», как я всегда думал, а электролиты. Без них через неделю тебя скрутят судороги, а голова закружится так, что не сможешь встать. Натрий и калий должны поступать в кровь.

Закрыв вкладки, посмотрел на свой блокнот. Четыре тезиса, начерканные сбивчивым почерком параноика. Что ж, теория без практики мертва.

Пока каша доходила, я заглянул в морозилку. Моему пытливному взгляду предстали покрывшаяся инеем початая бутылка водки, лежавшая там второй год, сиротливая пачка пельменей и два кубика льда в пластиковой формочке. Холод был, компрессор уютно урчал, и это навело на мысль, которая раньше почему-то ускользала. Электричество. В том, прошлом-будущем, когда я истекал кровью на первом этаже, подъездная лампа горела. Это было двадцать седьмого ноября. Почти три недели после Часа «Ч». Свет был. Значит, морозилка должна быть забита под завязку. Курица, фарш, свинина. Если забить камеру, это даст неделю-две качественного белка. Куриные бёдра по двести рублей, субпродукты — печень, сердца. Дешёвые калории, которые можно растянуть надолго.

Гречку я съел прямо из кастрюли, стоя у раковины. Мыть лишнюю тарелку казалось расточительством — времени было откровенно жалко. Каша была серой, горячей и безвкусной, как мокрая газета. Я сосредоточился на том, что считал жевки: раз, два, полтора десятка... Тридцать. Проглотил. Следующая ложка. Вкус жизни уходил, уступая место чистой физиологии и прагматичности.

Помыв кастрюлю и вытерев руки, я сел за компьютер. Час двадцать пополудни. Прежде чем лезть на барахолки, нужно было разобраться с тем, что может добить меня после краха системы.

Запрос: «сколько работает электросеть без персонала».

Экран запестрел ссылками. «Хабр», форумы препперов, переведённые статьи западных аналитиков. Я открыл всё и погрузился в чтение, делая пометки в старом, ещё мамином блокноте. Бумага надёжнее облака и харда.

Картина складывалась мрачная. Тепловые электростанции, основа энергетики Подмосковья, без людей обречены. Автоматика продержит их на плаву от суток до трёх, потом сработает защита, и турбины встанут. Отключение одной станции вызовет перегрузку соседних, те тоже остановятся. Эффект домино. Прогнозы давали разные, но все они колебались от 24 до 72 часов до начала веерных отключений. Неделя — максимум до полного блэкаута. ГЭС выносливее, но без диспетчеров сеть рассыпется и они захлебнутся в собственной энергии.

Я аккуратно вывел в блокноте: «Свет: 3–7 дней. Морозилка актуальна неделю. Запасы свечи, батарейки».

Газ. Система инерционна. Давление в магистралях поддерживают компрессоры, которые встанут без тока. Но в трубах останется огромный объём газа. Плита проживёт дольше лампочки. Это критически важно: кипятить воду, варить крупу. Записал: «Газ: 2–3 недели. Плита — основной очаг. Туристическая горелка — НЗ».

Вода. Самое слабое звено. Насосы встанут вместе с электричеством. Давление упадёт за сутки. Верхние этажи обсохнут первыми. Мой второй этаж продержится чуть дольше, но это вопрос часов, не дней. Главное правило: как только началось — набрать всё, что можно. Ванна, вёдра, кастрюли, банки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.